

ГРУППЕНФЮРЕР*

(выдох)

Если бы я был один. Как когда я был молод и независим. А как это – независим? Я мог бы вспомнить, будь я собой молодым. Как это – собой? Кто же я, если не сам? Кем это молодым? Вспомни, когда тебе тысяча лет.

Я – Летучий Голландец. Проклят всеми, кто уже не помнит меня, не помнит, что проклял, не помнит, за что. Мне нет ни жизни, ни смерти. С незапамятных времен ношусь по водам житейского моря, лишенный то ли права, то ли простой возможности достигнуть гавани. Только раз в семь лет объявляюсь здесь зримо, в поисках кого-то. Кого? Смутно помню – кто-то должен меня, наконец, полюбить, какая-то девушка, и хранить мне верность, и тогда я спасен. Обрету покой, желанную смерть. Я, призрак во главе призрачной команды. Моя родина там, где я дома, а дома я повсюду, как любой, у кого не все дома. У кого никого – дома.

Когда попадаю домой, в Амстердам, прохожу – незримо – среди свободных людей, идущих на красный свет, в компании не видящих меня афроголландцев, затевающих игру в футбол под дождем прямо на трамвайных рельсах, они улыбаются мне, думая о своем, я же незримо улыбаюсь им во все зубы – все оставшиеся от столетий жизни. Выпьем джину, ребята, вашего голландского хеневеру, свернем по самокрутке вашего сладкого табачку. Терборха не видели? Рейсдаль не заходил? Виллем Кальф ничего не просил передать? Да, мы в квартале Красных фонарей. Это он и есть. Он начинается прямо у Аудо Кёрк – Древней Церкви, – старейшей в Амстердаме, и, окружая ее, ставит нас прямо перед трещиной, проходящей по сердцу Европы: перед расселиной свободы. За которую боролись, и когда победили, выяснилось, что она победила – нас. В Амстердаме свобода дает себе высшую меру. Терпимость зашкаливает за себя самое и, минуя все недодуманные, инертно-промежуточные станции, становится домом терпимости. Предоставляя единственную до конца последовательную возможность свободы: свободно идти в церковь – либо в бордель. Эта гениальная провокация Амстердама, а вовсе не приписываемая Кварталу красных фонарей экзотика (ничего менее экзотичного, чем половой акт, на котором мир стоит с рождения, вообще быть не может), и порождает странное ощущение не плохой или хорошей, а начальнее всего живой и нами самими изготовляемой жизни. Сырая жизнь Амстердама... Да уж не вареная. Спрашивайте. Бьют ли морды? Чтобы да, так нет; не видал, врать не буду. Вот обворовать – это за милую душу, так что, как говаривал один мой знакомый: когда тебе говорят о любви – держись за карманы. Ну допустим. А как они себя ведут? Так они и есть голубые. Тут если на это дело смотреть... Что значит – негры? Вы хотите сказать, что черные не могут быть голубыми? Логично. Но логика – не самое сильное место Амстердама.

* Первый вариант этой повести под названием «Копченое пиво» был опубликован в журнале «Вестник Европы» в 2001 году. Автор представил нам новую редакцию, подготовленную к книжному изданию.

Я? Да бога ради. Ничего я не хочу сказать плохого, а только: если марихуана продается в аптеках, то где здесь логика, объясните, может, я чего... Да нет, это не имеет никакого отношения к моим вкусам. Я сам в свое время купил по случаю стальной тросик в кондитерском отделе самарской булочной и был этой удаче очень рад, долго обходился без вызова сантехника, но все же – что сказал бы нам Аристотель? Если это и логика, то неформальная... Запах в воздухе сладковато-перечный? А какой у анаши еще бывает? Так я же и говорю – марихуана. Нет, я лично – не отличаю. Не настолько продвинут. Каннабис, марихуана, гашиш, джойнт, анаша, план, гянджа – если мне кто-то объяснит тонкости, буду очень обязан. Сказал бы, по-хорошему тронут.

Когда попадаю домой в Венецию, прохожу – незримо, в окружении незримых сорока-пятидесяти экскурсантов, ведомых мною – по уродливым (до сих пор не могу понять, почему никто из пишущих о красотах Венеции не почувствовал неблагообразии этих криво-плоских домов жареного цвета с некрасивыми, неладно расширяющимися кверху жерлами труб, живописное уродство, подобное которому, хоть и совсем непохожее внешне, можно найти лишь в старых кварталах Нижнего или Самары? чужие, что ли? кто здесь дома, тот, освобожденный правом рождения от умиления перед родиной, может только устало любить и ненавидеть свою покосившуюся хижину-дворец), вонючим, в палец шириной, переулком в сестьере Кастелло или Канареджио, я чувствую себя Одиссеем. Улиссом на родине без дома, жены и сына. Без старой моей служанки, чтобы омыть мне ноги в медном тазу. Мои ноги гудят без омовения в кроссовках (большой палец левой ноги рано или поздно пробивает очередной башмак, из тряпки, как бы ни звалась она, хоть бы и «Найк», кроссовки позаимствованы мною у сына, у него такой же размер, вот они сегодня растут, а я не настолько богат, чтобы покупать «Найк» себе, – из тряпочной дыры высвечивает сырой от венецианской влаги носок) так давно, что я перестал их слушать; лишь бы они слушались меня. Да, на ноге моей рубец, по которому она должна меня узнать, но я сам не узнал бы ее, я не помню даже ее имени, да вряд ли она и жива. Да вряд ли она и была – у нищих царей духа слуг нет и не было. Дома без дома. Вернуться на Итаку на полдня незримо и смяться. Странное ощущение. По счастью, оно быстро кончается. Снимаемся с якоря. Заводим мотор. Блуждающий автобус. Не блудит, но блуждает по дорогам всех веков и, бывает, заблуждается по пути.

Когда попадаю домой, в Вену, где в еще памятные мне дни Венского конгресса по всему городу на руках носили Бетховена, прославившего потом – почему, не знаю, – чуть ли не бедняком (в этом городе все сидят в кафехаусах и все слывят бедняками, Моцарт в этом городе слухов, разносившихся отсюда по миру, когда Вена еще что-то в нем значила, прослыл вообще нищим, тогда как по документам, сказал мне один сведущий человек в Зальцбурге, выходит, что за месяц до кончины этот славный пьяница купил лошадь – быть в долгах как в шелках это одно, но нищим... кто же не помнит, сколько в 1791 году стоила лошадь?), в старый мой добрый Хоффбург, незримо прохожу по шатцкамере, мимо древней короны Священной Римской империи, Оттона 2 или 3, пусть они спорят, мне все равно, корона и так моя, пусть она стоит под стеклом в витрине, что мне, жалко, что ли, не все же себе, нужно и людям, мне даже нет нужды вынимать ее из витрины, она мне надоела, она тяжелее шапки Мономаха (та никогда не была моей) – вся из золота и камней, она тяжелее, чем вынесет моя шея. Но все равно она моя, у меня дома. Сейчас пройду в свои комнаты, минуя комнаты Сисси с ее гимнастическими снарядами (кто бы мог сказать, что у ее вздорных затей такое будущее), с ее бульдогами и боксерами Драконом, Браво, Оскаром и Гамлетом, приму, наконец, контрастный душ... Как ступни гудят; так сбить их, таскаясь по святым камням Европы.

Европа – мой общий дом. Коммунальная территория. Есть и изолированная территория: родина. Есть себе и есть. Живет себе и еще поживет, и слава богу. Обходилась без меня со мной, обходится и вовсе без меня. Она и не без таких обойдется. Нет ждущих меня, нуждающихся во мне, кроме тех двух, что и так – я. Моя семья – это все тот же я сам, как говорил один встречный князь одному поперечному графу где-то на пароме, не помню через какую, когда-то в России. Что с того, что я целый, в полном составе. И в полном составе вполне можно быть ненужным. Чтобы быть нужным, нужен друг. Почему я никому не нужен? Может быть, потому, что и мне не нужен никто? Нет. Мне нужен кто-то. Девушка, которая меня полюбит, чтобы спасти. Почему? Как может быть, что все мы не нужны никому, если каждому нужен кто-то? Не то чтобы не знаю; просто забыл ответ. Как ее зовут? Забыл и это.

Забыл все, кроме того, что по курсу. Вижу – земля. Слева по борту Бурбонский Дворец, справа по борту церковь Сен-Мадлен, прямо по ходу Шанз Элизе, и сквозь пролет Арк де Триумф, если выстрелить сзади из двора Лувра через Арк Каруссель, прямая пуля пролетит посреди гигантской дыры подвесного квадрата Гранд Арк Дефанс.

Никто не оскорблен мною, никто не обижен; а мне нет прощения.

Вчера я услышал насмешившие до слез слова. На улице одна русская сказала другой мне вдогон: «Как, ты его не знаешь? Весь культурный русскоязычный город знает его. Он возит по всем странам и водит по всем городам, как будто там родился. Это мифическая фигура». Она сказала это тихо, за моей спиной, но русский язык в тихом воздухе нашего города слышен издали. Она и не знала, до какой степени попала в точку. До какой степени эта глупость неглупа. Я и впрямь родился здесь задолго до себя – не во всех этих городах сразу, разумеется, но в каждом из них в отдельности. И я вправду мифическая фигура. Есть я или нет меня? Качает от собственной невесомости, сейчас взлечу перышком – сам себя не поймаю. Невесомость. Есть я или нет? Ахиллес и Геракл, ведь мы никогда не жили, чтобы их не было, значит, они всегда здесь, они безусловно есть, но их безусловно не было. Вот же и я. Влип в ту же историю. Незрим, но я публичный человек. Весь вечер на, вместо того, чтобы послать всех к. На арене, имею в виду. Да, это Арена. Второй по величине амфитеатр, оставшийся от римских времен. Первый, дорогие друзья, конечно – кто, что? Нет, не угадали, не Пантеон. Верно, Колизей. Колоссеум. Но и Арена, чьи размеры, если вам интересно, 138.77 x 109.52 м – не хухры-мухры. 22 000 зрителей. Это Верона, друзья мои. Это дом Джульетты. Ну и что же, что стены со двора записаны надписями в пять слов? Если места не хватает. Она одна, а нас сколько. А это *тот самый* балкон, с которого она провожала Ромео. А это бронзовая *она сама* во дворе своего *того самого* дома. Статуя прошлого века. Извините, позапрошлого, вы, как всегда, правы. Вот чего я никак не могу сделать, это – переходить в Европе улицу только на зеленый свет и перейти в 21 век, все остаюсь в 20-м. А вот тут уже вы не правы. Снимайтесь с Джульеттой на здоровье, но зачем хватать ее за грудь? Ну и что ж, что он так перед вами снялся? Он японец, у них все другое. Одна моя знакомая, очень умная и образованная, пишет – им не повезло, в отличие от нас они не удостоверяются в бытии, мыслят подлинное бытие как несуществование. Им не повезло с бытием. Зато, скажу от себя, может быть, им повезло в небытии. Они там *будут*, а мы нет. У них в зазеркалье, может быть, положить руку на грудь – это выражение чистой дружбы. Или рыцарской преданности. Положа руку на сердце. Но для вас, пожалуйста предположить, это выражение более земного чувства. Так я для вашего же.... ну не морали же я взрослым лю... нет, послушайте, не обижайте... ну послушайте же, а потом хоть рекламацию в фирму пишете, хоть в суд, я ведь что только хочу сказать – мы с вами за что любим Джульетту, а за что – свою

жену? Вдумаемся. Жена тем и хороша, что – наша. А Джульетта – чем запомнилась? За что мы ее полюбили? Да за то, что она – не наша. Она принадлежит Ромео. Она убила себя из-за Ромео, только поэтому мы ее полюбили, так или так?.. Раз в жизни мы полюбили чужое за то и только за то, по определению, что оно принадлежит не нам и осталось принципиально чужим до самой смерти. До полной гибели всерьез. Раз в жизни полюбили бескорыстно не чужое как свое, а чужое как чужое – ужели теперь начнем тискать его будто свое, предадим свою единственную любовь не к себе? На кой нам с в о я Джульетта? Это уже не Джульетта, верно? Дошло, наконец? Ну я рад, что не обижаетесь. Я же говорил, вы меня поймете. Нужна только добрая воля к пониманию, как у вас, и любой еврей договорится с любым арабом. Потому что на самом деле и у тех, и у других семитов есть общие интересы – тянуть с Америки. Правда, эти хотят еще тянуть со старших арабов, с больших пацанов, как говорили в городе моей юности. А американские и арабские большие пацаны плохо сочетаются. Но это только на первый взгляд. Все можно обговорить, все вопросы устаканить, обратив вопросами языка, всему определить свое место и время. Пример? Берешь сто долларов за одно камнеметание, швыряешь камень не в голову, а в заведомо пустое место и получаешь за это от другой стороны сверху еще тридцать. Просто и гениально. Но это только первый шаг. А дальше... Гений – парадоксов друг. Этот коммерческий секрет полишинеля мог бы стать их общим делом. Товариществом с ограниченной ответственностью. GmbH. Сообществом закрытого для несемитов типа. А кто ее любит? И незачем ее любить. Это единственное, в чем мир может отказать Америке – в любви, и пока он еще не весь ей дает, не полностью клянется ей в любви, у него еще есть шанс не занизить себе цену до пигалевских. Пойдем дальше. Дом Ромео не столь известен, как дом Джульетты. Потому что в плачевном состоянии. Это только в Италии бывает – продают как аттракцион то, что в плачевном состоянии. Еще в России, но там хотя бы не продают. Как, и в России тоже? Что значит отстать от жизни. Где дом Ромео? Да где ж ему быть, как не здесь. Тут он, тут, не беспокойтесь. Поищем и найдем. Мы и не то находили. Публика меня любит за то, что я все могу сыскать. Потому что люблю свое дело. Потому что не знаю, в чем оно, а любить можно только то, что еще не знаешь настолько, чтобы разлюбить. Просто так давно хотелось увидеть, которое мне снилось в отроческих снах, и теперь так приятно чувствовать, до какой степени все не так. Освежает. Давно пора освежиться. Но еще рано. Уже поздно. Как интересно... Кто бы мог подумать: мальчик, начитавшийся когда-то Бодлера в рабочем квартале рабочего города-миллионера, в ночи наглядевшись эстампов, лет через 30, перейдя от Ситэ по мосту Турнель на остров Сен Луи, проходя с хвостом туристов мимо отеля герцога де Лозэн на Анжуйской набережной, 17, где Теофиль Готье открыл «Клуб любителей гашиша» и жил там вместе с Бодлером, только сплунет под ноги, думая уныло – как далеко до полуночи. До конца трудодня. До закрытия праздника, который всегда с тобой.

Но не для того же занимаюсь этим. Не для того не сплю я ночами, Летучий Голландец в бегущих автобусах (не умею спать сидя), – когда повидал все, что можно, убедился в том, что святые камни Европы – лишь известняк и песчаник, а не опрокинутое на землю небо в алмазах.

Я делаю это для них. Для того, чтобы хоть что-нибудь сделать для них. Пусть они хотят, чтобы я сделал другое, чего я эгоистически не хочу. Не пойду на упаковку лампочек в индустри гебит. Не пойду клеить коробки в индустри гебит, в промзону. Не пойду паять платы для компьютеров на Сименс. В Европе нет безработицы. Здесь полно работы, от которой далеко не каждый сойдет с ума. Я – сойду. Я эгоист. Эгоистически не хочу сойти с ума. Но что-то же я для них должен сделать. Из эгоистических соображений: моя семья – тот же я. Так сказал один русский князь в 19 веке; я услышал и запомнил.

Эгоистически занимаюсь иллегальным промыслом. Интеллектуальной контрабандой. Любой полицейский в Австрии может наложить на меня штраф до 5000 марок. В Италии мне могут шлепнуть в паспорт пожизненное запрещение въезда в страну. И страшно подумать, что могут сделать за незаконное вождение парижские ажаны. Я начал бояться Лувра уже за неделю до очередной поездки в Париж. В кошмарном сне снится мне «Пьета» из Авиньона, XV век (кто из луврских лицензированных экскурсоводов сказал о ней хоть слово, хоть одно восхищенное слово?), эта Стена Плача безымянной французской живописи на все времена. Возле которой меня ловят, как мелкого жулика. Странная судьба – незримо призрак во главе ведомой им команды призраков бродит и бродит себе по Европе, но как только дело пахнет криминалом, призрак материализуется. Для стражей порядка. «Где Ваша лицензия, мсье?» – «Извините, это не экскурсия. Мы не группа. Просто мои русские друзья попросили меня что-то им рассказать по-русски». – «У Вас слишком много друзей, мсье. Прошу Вас немедленно замолчать и спуститься по лестнице, в противном случае я вызываю полицию». Не надо, не надо ажанов (я так и не выяснил до сих пор величину штрафа во Франции: не хотелось бы выяснить это опытным путем). Тогда спускайтесь по лестнице. Вниз по лестнице, ведущей вверх. А кто тогда скажет человеку из Харькова хоть слово об этом чистейшем выражении религиозного чувства 15 века? Но Лувр плевал на человека из Харькова. Он плевал на любого человека, хотя любой человек и приносит ему единственное, что ему нужно – деньги франки. Лувр приносит Парижу 25% годового валютного дохода, и даже малая толика этой тесно конвоируемой валюты по праву принадлежит французским лицензированным экскурсоводам. Я – экскурсионс-фюрер. Но незаконный. Без диплома, лицензии, значка. Экскурсовод-контрабандист. Но берите выше. Зовите просто – группенфюрер. Во главе группы войск, не нуждаясь ни в каком удостоверении, кроме права сильного. Которое мы удостоверим явочным порядком победы. Ничего-ничего, поддадимся, чтобы победить. Сейчас мы спустимся по лестнице павильона Ришелье. И снова возникнем в павильоне Денон, где нас больше не ждут. Неожиданный марш-бросок. По пояс в ледяной воде Сиваша. Нет, Ганнибалом обрушусь на вас, совершив беспримерный переход через вашу вшивую Галлию и плюгавые Альпы. Потеряв половину армии по дороге, пополню ее ряды другими русскоязычными, сбегавшимися на мой понятный только им зов, на лебединую песнь русского Лознгина изо всех залов Лувра. Призрак, призрак колобродит по Европе.

Это вот церковь Санта Мария Глорियो деи Фрари. Одно из сердец Венеции. Сейчас мы войдем сюда вот отсюда, с этой стороны мы войдем в церковь как в храм, друзья мои, а не с той, где вход в церковь как в музей. Потому что с той надо платить, хоть стой хоть падай. А с этой не надо. Сейчас вы увидите в проеме алтарной преграды, точно так, как ее должны были видеть современники, войдя в храм, картину Тициана «Ассунта» – Вознесение Богоматери. Это у католиков такой праздник, которого у нас нет, потому что... но это сейчас неважно. Это важно для отца Сергия Булгакова, а для нас нет. Нам с вами сейчас важно, что когда еще молодой Тициан написал эту картину, вся Венеция праздновала этот день, вся Серениссима шла сюда, во Фрари, где мы сейчас, на освящение этой иконы. Потому что этот холст семиметровой высоты – это для нас картина, а для них – это алтарная икона, и то был венецианский ответ на вызов Рима. В те годы Рафаэль, человек, которого мы все хотим видеть воплощением его же «Маньера гранда» (я вам в автобусе по дороге расскажу, что это такое – большой стиль, а сейчас лишь замечу – это то, чего у нас с вами и в помине нет), ведя, что бы ни говорили о его богатом и свободном быте, совсем не праздную жизнь, написал величайшую икону Рима «Преображение», которая, по мнению многих, начинает все, что позже стало называться маньеризмом и даже барокко, тогда как, в сущности, было протиполопностью сразу тому и другому – торжеством настоя-

щей классики. Иначе придется считать маньеристом и Пуссена. Тут, по сути, школа жеста классического театра. Царство умозрения, три холодных как лед ступени разумного восхождения. Три разных освещения, три вида света, три пространства в одном. Ибо что есть Преображение, как его представляем себе мы, православные, со времен св. Григория Паламы, с 14 века, – и как его представляют себе католики?.. Позвольте мне не отвечать на мой же вопрос, уважаемые дамы и господа, это нас заведет далеко-далеко; коротко, чтобы не утомлять, важно, что молодой Тициан перерубает этот гордиев узел римского рацио сплеча – решительно соединяя все три пространственных зоны в одну небесно-земную, пронизанную единым земно-небесным светом, воздымая винтовым, пропеллерным движением Деву Марию в небо и заставляя зрителя охватить небеса и землю единым взглядом и ощутить все мыслимое и немислимое сразу – как единый удар чувства, как круговорот испаряющегося воздухосветоцвета, вовлечь любого простеца или сложнеца в энергетические восходяще-нисходящие потоки. Проще говоря, вознести нас самих в небо, одновременно оставляя крепко стоять ногами на земле. Но если и это слишком сложно, друзья мои, если для вас, как и для меня, это слишком по-венециански: и на небесах, и на земле, все получить, ни от чего не отказываясь, – то и это неважно, а важно, друзья мои, что нас просят удалиться из церкви, потому что мы порядком им поднадоели, они уже поняли, что мы – не помолиться пришли, но мы спокойно можем войти в церковь слева, как в музей, чтобы уже как следует разглядеть вблизи и «Ассунту», и другую величайшую картину Тициана, «Мадонна семейства Пезаро», и гробницу самого Тициана, и дивный триптих Джованни Беллини, которого на своем птичьем наречии в этом городе голубей зовут Дзанбеллино, а лучше Дзанбеллино, если кто и писал красками, то чистоты его созерцания (я потом объясню про созерцание, потому что одно созерцание у Винни Пуха и другое у Совы, одно у Григория Паламы и другое у Слепого Шейха, хотя Григорий Соломонович Померанц и думает о суфиях, что созерцание их туда же ведет, куда и Симеона Нового Богослова, тогда как Винни Пуха с Совой вряд ли станет синтезировать) при посредстве столь чистых красок не достигал никто... и это всего за 3000 лир. Три марки. Что значит – когда уже и так глянули? Ах, на шару. Кто еще так думает? Большинство? Что молчим? В знак согласия? На шару – так на шару. Нет, мы не можем идти вдесятером, чтобы сорок оставшихся тем временем разбрелись и потерялись. Кто потеряется в Венеции, того даже я не соберу. Вперед и с песней. С тех пор не слышали родные края: «Линдау, Пассау, Дахау моя». В витрине? Мерло ди Венето? Этот сорт винограда используется чаще в сочетании с каберне совиньон. Как в бордо. В вина бордо идет к тому же и некоторая толика каберне фран. Отдельно – мерло имеет фруктовые тона. Конкретно – сливы. Слегка перезревшая, лоза мерло дает тона горького шоколада. Мерло ди Венето, как и Мерло ди Фриули, по-моему, жидковато. Североитальянские вина вообще, на мой вкус, жидковаты и маловыразительны. Нет, бывает, и Вальполичелла набирает полноту корпуса, да еще и 14 градусов, но тогда это уже не простая Вальполичелла, а особая, типа Амарено делла Вальполичелла, из подсушенных ягод – и стоит под 30 марок бутылка, почти как великие пьемонтские Бароло и Барбареско. Но в большинстве их северные вина, по-моему, жидковаты. Зато – имеют славу легких. Якобы не тяжелят, а веселят. Якобы – это и есть Италия. Веселить, а не тяжелить. А я скажу – это сколько выпить, друзья. Сколько выпить. Мерло, мерло по всей земле. Да протрезвело.

Ее отправили было пуцать швимбад, убирать бассейн, но мы положили ее в больницу. Голодать – а на выходе вялые членики вареной спаржи и листики артишоков. Без соли и масла. Кто-то когда-то об этом мечтал. Спаржа, артишоки. Не стоит того. Осуществление мечты вообще не стоит самой мечты; а тем более мечты о съестном. Мечта – несъедобна. Мы добились, чтобы ее положили, потому

что сказали: там замглавврача русская – она тонкий психотерапевт – и помогает своим. Она ставит нужный диагноз. А нам и не нужен был *нужный* диагноз. Нам нужно было лишь подтвердить тот, что она имела в Москве. Правдивый. Его бы хватило, чтобы ее не тягали работать поутру. Как же как же. Не верьте пехоте. У России нет друзей, даже среди русских – вне России. У России – в лице русских вне России – есть лишь интересы. Интерес русской замглавврача был – самоутвердиться за счет таких, как моя. Объяснить ей, что если она не смогла устроиться на работу, вообще встроиться, ей самое время поворачивать оглобли назад, в Москву. Если она, интересная женщина, не смогла как следует устроиться, то кто она? Не-женщина, никто. «Вы просто дрожите здесь от страха, как свечечка на ветру, на вас смотреть страшно». Вот она сама – то ли дело, она и немецкий смогла выучить перфектно (тут от большинства немецкоговорящих русских слышишь беззаветно-искреннее: они владеют немецким именно «перфектно», совершенно; хотелось бы знать, какой перфектный немецкий они имеют в виду – немецкий Ницше и Целана, или есть еще другой «перфектный немецкий»?), бегло-бегло, и замглавврача статья, и интересной женщиной остаться. Самое интересное в этой интересной женщине – она-таки и правда изображала из себя психоаналитика. Я позвонил ей и сказал, что если она такими методами расправляется с и без нее пляшущими на ветру человечками вроде моей жены, чтобы себе показаться краше, то она, конечно, прирожденный психотерапевт. Себя самой. Но только вот бывают еще и другие психотерапевты – например, был такой профессор в Цюрихе, его звали Карл Густав, к сожалению, не помню фамилии, но только он однажды девять лет слушал и слушал одного пациента, а сам ни слова, ни гугу, и тогда на десятый год пациент ему открылся и все доверил, – так вот, не знает ли она цюрихский адрес этого Густава Карла? После чего она сказала моей прямо в больнице, где та голодала пять суток, что видела она бессовестных хамов, но таких, как Ваш муж, еще не слыхала. Возможно, сказала моя, это ведь только я думаю, что у него есть совесть, а Вы не обязаны. А я понял одно: насколько каждый из нас прав, этого даже никто из нас не представляет. Потому что, сказала моя, неподдельнее искренности, чем в голосе этой замглавврача, она и представить не может. Я ей верю.

Потому что у меня и правда совсем нет совести. Затерялась где-то по дороге между Боценом и Тренто. Это такие места, где можно, потеряв, долго искать, потому что здесь никуда не спешат, Тридентский собор в нынешнем Тренто, например, заседал с 1545 по 1563-й, заседал и определял судьбы Контрреформации, судьбы Европы, в каком-то Тренто 18 лет, а уж если что тут закатится под лавку, типа совести, то и не сыщешь, хоть 18 лет ищи. Или между рейнским и франконским. Друзья мои, законы изготовления вина во Франконии жестоки. В отличие от многих вин Франции, винздрав Франконии запрещает добавлять сахар в бродящий виноматериал. Надпись «вайн мит предикат» или «кабинетт» это и обозначает. Сколько виноград сам набрал в этот год – столько и набрал. 10 градусов – значит, 10. Не густо – зато по правде. Кому нужна правда? Не знаю. Мне, например, не нужна. И вам? Вот я и говорю. Правда вообще не нужна, но неправда отвратительна. А за неимением правды ее место почему-то автоматически занимает неправда. Закон суров, но это закон. Это Германия. Это честная страна. А я люблю франконские вина. За их франконскую сухость. Представьте себе, есть такое понятие – не просто сухое вино, но франконски сухое. Самое большее – остаточные четыре грамма сахара в литре вина. 0,4%. Вообще не чувствуется. В остальных местах допускается до девяти граммов на литр. Франконская сухость, если хорошо заохолдить бутылочку-другую, это сухость подмороженной зимней земли. Языком натыкаешься на твердость сухой влаги. Гете тоже любил франконское. Говорят, выпивал до двух литров в день. Кто говорит? Ну, друг мой, все. Есть мнение. До 82, да. Дожил. Ну и что? Ничего необычного. И

каждый из нас доживет до 82, если не умрет. Да, я тоже слышал, его обкладывали молодыми женщинами. Но, думаю, если это и было, то в 82 уже только чтобы согреться. Их подбрасывали, как дрова в печку. Как эскимосы в снежной яме согреваются собаками – помните группу «Ночь трех собак»? Нет? А я помню. Я все помню, и это ужасно.

Совість. Когда везешь 50 человек из туманной Германии в прозрачную Италию, зачем она тебе? Совість для тех, кто спал хотя бы четыре часа. Честь тем, кто в автобусе выспался. Полуживому сторожевому-неспящему – только смотреть в окно и думать: я еще на этом свете? или уже на том? Почему чистилище сменилось раем? Я не достоин рая. Я не достоин даже чистилища. А уже в раю. Это кипарисы или аполлоны и гиацинты? Почему так много солнца? За что оно меня еще греет? В чем смысл того, что всегда – стоит пересечь черту, отделяющую Австрию от Италии, – и в ста метрах от границы туман – всегда – заменяют солнцем? Но один раз я видел в начале Италии – вместо солнца свинцовое небо, и в темно-мышинные отроги Тироля врезается, ниспадая в дол, светло-мышинный туман. Это красивее этого. Я хочу сказать, в жизни это красивее всего, что я мог бы об этом сказать красиво.

А тем временем этому придурку сломали нос. К нему задрался крутой одноклассник. Безотцовщина. И этот дурачок пошел на дуэль. Думал, сначала будут долго ругаться, как в России. А тот подошел и, ни слова ни говоря, по-немецки приступил к делу: сразу двинул в нос.

И мой приходит домой, когда мать в больнице, а мне завтра в Париж, и говорит – у меня нос болит. Непохоже, чтобы серьезно, крови нет. Но болит. А мне завтра в Париж. Мало ли что, для очистки совести – к врачу. На! Рентген: перелом носа. Без смещения. Уже кое-что. В остальном херово. Лицо в гипсовой маске. Это что-то. И так я беру его с собой в автобус, ни слова ей не звоня. Сойдет же с ума окончательно. Приехали в Германию на ее бедную голову по моему хотению. Концлагерь. С утра гонят на принудработы. Не первый год отбиваемся. Окопная война. Силы на исходе. Боеприпасов нет. Провианта нет. Фуража нет. Не в смысле, чтобы поест, не голодаем, не жалуюсь, чего нет – того нет, а в смысле ведения военных действий. И теперь еще это.

И вот он спит, головой у меня на коленях, в автобусе, мы подсели ночью, основной состав заселился в Мюнхене, полутьма, его еще никто не видел, я сочиняю про себя на немецком беседу в понедельник с директором, чтобы того подонка вышвырнули из гимназии. Ведет себя не как немец, а как подонок из какого-нибудь Чапаевска. Недавно привел двух своих друзей-старшеклассников, и они швырнули его очередного врага – рослого одноклассника, с которым он не мог справиться, через скамейку – прямо в больницу. С моим же он справился сам, и быстро. Я ему выдам за всю боль моих годов в рабочем квартале моего отрочества. Мать его только жалко. Одна, бедняжка. Чуть ли не как мы, на соцпомощи. И все равно, таких крутых немцев все равно надо ставить на место, чтобы знали, кому положено быть крутым, а кому – цивилизованным. Это его девятый фервайз, а после девятого фервайза – вон из гимназии, я сказал – его выпиннут, и его выпиннут как положено, как я сказал. Даром что плохо говорю по-немецки, возьму кого-нибудь за 10 марок, а понадобится – и за 15, и добьюсь того, чтобы погиб весь немецкий мир, но восторжествовал немецкий закон. Доколе над нами будут издеваться только потому, что мы ненемецкоговорящие, что мы – немые, мы нем-цы у немцев и не можем постоять за себя? А я постою! Я готов даже отсидеть – не за себя, за этого дурачка. Если этот полудурок не может сам себя защитить, я его защищу. Он вышел на дуэль, хватило пороху, и будет с него. Остальное мое дело. Это мое пиво, как говорят здесь. Но чтобы она не узнала. Он спит всю ночь у меня на коленях в гипсовом наноснике-набровнике, перетянутом еще по лбу и щекам по-индейски четырьмя полосами

пластыря, я боюсь, что утром его вид будет пугать честную публику, я везу эту Гипсовую Маску в Париж, где в бывшей Бастиль томился Железная Маска, и думаю: что мне с ним делать, когда у меня 50 туристов, но не оставлять же его одного дома в 13 лет с переломанным носом, мать в больнице, и только бы она не узнала. Его надо убедить, что он должен молчать, должен соврать – аллес ин орднунг, чтобы она не сошла с ума, он избыточно честный; хоть бы нос сросся и сняли гипс до ее выхода, у меня есть еще дней десять, чтобы его подговорить молчать, как-то ему объяснить, что Богу иной раз угодно и чтобы кто-то помолчал. Не соврал, просто помолчал.

Но в принципе в Германии надо знать немецкий: рискуешь не почувствовать себя человеком. Жду автобуса на остановке возле супермаркета. Вдруг откуда ни возмись рядом садится девчушка лет 15-16 и давай шмыгать носом, глотая слезы. Не выношу, когда женщины плачут. Не можешь помочь – вообще чувствуешь себя свиньей, не можешь помочь женщине – свиньей вдвойне, но если не можешь помочь потому, что не знаешь ее языка – это какое-то-то невыносимое, тройственное свинство. Допустим, допустим, еще нашелся бы сказать: «Почему ты (вы) плачешь(те)? Могу ли я чем-то помочь?» А дальше? Дальше, в ответ, она что-то залопотала бы, быстро, вздох, по-швабски, я ничего не понял бы, не смог бы ответить – так уж лучше не лезть вовсе. Позорище! Хорошо, у меня в кармане был «Сникерс», купил для своего. Я вынул и протянул ей. Без слов. Просто Чарли Чаплин. Я знал, она возьмет. Они тут все продленные дети, только что пользуются презервативами с 13 лет, а любят шоколадки, кока-колу и смотреть про покемонов. Она перестала плакать. Вгрызлась в «Сникерс». Потом к ней подошел ее парень и что-то ей тихо и нежно сказал. Они тут очень нежные, всегда идут, нежно-нежно обхватив друг друга за задницу. Она опять зашмыгала носом, но это было уже не моего ума и языка дело.

Ночь. Успели мы всем насладиться. Ночь – это время, что длить нельзя. Это место, где днить нельзя. Безвременное безместо. Сколько прошло минут, часов – узнаешь по светящемуся над водителем табло. Что проехали – по придорожным шильдам. Роскошный пограничный Страсбург или никакой пограничный Куфштайн – автобану все едино. Да и мне уже. Раз в три часа тормозят у придорожного растхофа, «чтобы размять ноги». Зачем спящим разминать ноги? Это мой Roadhouse Blues, не их и не Джима. В отличие от меня, у него, кажется, не было проблем с совестью. Он ее не терял. Чего нет – не потеряешь. Он был гений, а гениальность плюс еще и совесть – это уже слишком для одного человека. Курю, глядя на звезды. Давно бросил курить. Но в дальнотойных поездках начнешь покуривать. Эти точки наполненной пустоты как-то помогают пережить длительную пустоту ночи. Кажется, эта звезда вся уместится на кончике сигареты, а та ни за что. Звезды разные. Богу неуютно курение, виноват, я перед ним кругом виноват, но иногда кажется, что это Он щелкает у тебя под носом зажигалкой. Потом опять едем. Опять спят. Гипсовая Маска спит. Один я не умею спать сидя. Кто-то должен сидеть и смотреть. Экскурсовод-дальнотойщик. Единственный в мире частный сыщик-консультант. Все может сыскать на пересеченно-культурной местности. Не живши и недели, а то и дня в городах, по которым ведет, как по тому единственному, где родился. Нормальный человек водит, где живет. Или недалеко от себя. На границе с Бенилюксом – по Бенилюксу. На границе с Австрией – по Зальцбургу. А я, сидя в баварском провинциальном городе, вожу по любому городу Европы. Как я это делаю? Это коммерческая тайна, которая принесла мне чуть больше дырки от бублика и чуть меньше самого бублика. Но вам открою: все просто. Нужна только карта города. Она находится в путеводителе, который находится в библиотеке. Остальное, как не совсем умело, но совсем не бессмысленно формулировал покойный мальчик Цой, остальное находится в нас. И раскрывается на местности – в виде легкого отвисания челюсти: смотри, это то, самое оно и

есть. Ты вел их и себя по карте – и привел, карта правда не соврала, ты и вправду стоишь около дворца Медичи, что странно. Но раз уж это случилось, раз уж ты оказался здесь, а не на площади Урицкогo в Самаре – что ты знаешь о нем? Не о Моисее Соломоновиче Урицком, это кому сейчас интересно, красный террор или белая гвардия, когда доллар уже вторично стабилизировался на всем пространстве постконтрeврекoнстрeнeотранс-и-мeтa-Рoссии и барометр всегда показывает от 29.44 до 32.31 – а о старом Козимо, о сыне его Лоренцо и сыне его Джулиано, о возлюбленной последнего Симонетте Веспуччи, урожденной Каттанео, приехавшей с мужем Марко Веспуччи во Флоренцию и умершей здесь от чахотки через 7 лет. И когда она умрет, ровно за два года до того, как зарезали ее любовника, старший брат того, Лоренцо, напишет: «Настал вечер. Я и самый близкий друг мой шли, беседуя об утрате, постигнувшей всех нас. Воздух был чрезвычайно прозрачен, и, разговаривая, мы обратили взоры к очень яркой звезде, которая поднялась на востоке в таком блеске, что не только она затмила другие звезды, но даже предметы, расположенные на пути ее лучей, стали отбрасывать заметные тени. Мы некоторое время любовались ею, и я сказал затем, обратившись к моему другу: “Разве было бы удивительно, если бы душа той прекраснейшей дамы превратилась в эту новую планету или соединилась с ней? И если так, то что же удивительно ее великолепию? Ее красота в жизни была великою радостью наших глаз, пусть же утешит нас теперь ее далекое сияние“». Вспоминай-вспоминай, разматывай клубок, это ведь интересная история, заговор Пацци, обнажал тираноборческий кинжал, того зарезали как раз вот там, в храме, мы его сейчас увидим, прямо за этим углом, прямо во время службы, а тот укрылся в сакристии, раненый. Интересно. В сакристию все-таки побоялись, было за душой что-то сакральное, или просто их перехватили? Жутко интересно. Пока тебе самому жутко, им не перестанет быть интересно.

Я кондотьер. Эразмо ди Нарни по прозвищу Гаттамелата, что значит Пестрая Кошка. Огнем и мечом прошел я Пизу и Сьену, предал двухдневному разграблению Фиренцу; оголодавшие мои ландскнехты стояли в Вене (помню ее, еще когда она звалась Винодобона), оставляя глухи к мольбам завсегдатаев Оперы и кафе, опустошив запасы честного хозяина постоялого двора в Венском лесу, набив поутру карманы оставшимися на шведском столе от завтрака яблоками и киви, плавленными сырками и расфасованным джемом, и если бы корнфлекс и мюсли были расфасованы, мы забрали бы и эти трофеи с победенных земель. Тяжелая поступь моей голодраной, но обученной в боях механизированной пехоты заставила содрогнуться земли Брабанта и Франш-Конте. Тщательно готовил я кампанию за кампанией, разрабатывая по картам и книгам планы конкисты. Озеро Гарда, Верона, Виченца, родная моя Падуя, Милан, Рим, Канн, Ницца и Монако, Антверпен, Брюссель, Гент и Брюгге, Гаага, Амстердам, Люксембург, Кёльн – пали один за другим... Спрашивайте. Да, разумеется, одеколон, о де Колонь – это кельнская вода по-французски. Нет, не речная вода из Рейна, но – кельнская вода. Что значит вода, если это одеколон? А что значит – вода, если это водка? Все это вода. Весь вопрос, какая. Французы называют свою самогонку «о де ви» – вода жизни. А водка – вода смерти. Живая ли, мертвая вода – мне, призраку, все равно, какую пить. Чем закусывать. Где жить.

Но если умирать, так в Венеции. Да потому, друг мой, что в Венеции умирают все. Одни потому, что родились в ней, здесь живут и, значит, умрут. Другие потому, что это считается хорошим тоном. Вагнер же умер. Да, здесь, 13 февраля, в палаццо Вендрамин Каллерджи. Архитектор Мауро Кодуччи. Лучший из всех, кто здесь строил в 15 веке. Да. Тут. Взял вот и помер. На руках старого гондольера, венеицкого матроса Чижика, ходившего за ним как дядька. Подождите, утру слезу. Ведь он был Летучий Голландец, как я, он был моим братом и написал про нас оперу-автопортрет, а думал, что немец и антисемит. А сам взял сюжет у Гейне,

которого любил безумно. Но сжег все, чему поклонялся. Потому что был человек идеи. Большой и чистой идеи. Чего только люди идеи не думали большого и чистого. Главное, чтобы они думали одно, а удумали другое. Для тех, кто будет делать. Тогда еще можно жить. Вагнер помер, а мы будто хуже. И мы померем. Когда нам придет спасение от тех, кто нас полюбит. Тут, почему нет? Один такой когда-то тоже собирался помереть на Васильевском острове, но помер по дороге, в Нью-Йорке, а велел, как будто бы – тут. На похоронном острове Сан-Микеле. Я как думаю? Живет себе человек, живет и видит – кругом мрут, а хоть бы хны. Мерло, мерло по всей земле – не поредело. Он и решил, поскольку у него уже была любящая и верная, и ему недалеко оставалось до спасения и покоя, во избежание мало ли там чего, знаете, бывает, внезапно умрет человек, он-то уже в курсе, как и что, а другие-то еще живые, вот и не знают, что делать... он и решил заменить Васильевский остров Михайловским. Им так понятнее, Европа все-таки, Запад, все свое родное, а ему не все ли равно, когда для него все родное – уже там, а не здесь? Любой остров есть остров есть часть суши, со всех сторон омываемая водой. Мы живые на этом острове мертвых. Как то есть что? То. Мы пока еще не доросли. Мы еще чужие на этом празднике смерти, вот что.

Кажется, тот, со зрительским значком, в углу обратил внимание. Да, определенно. Идемте тихо, но быстро; идем дальше, друзья мои (почему нельзя? что я сказал-то? что большей концентрации католического чувства, чем в картине Ла Тура «Оплакивание св. Себастьяна», нет даже в картине Сурбарана «Смерть св. Бонавентуры», которую вы видели 15 минут назад в крыле Денон (где нас не тормознули, обычно тормозят там, а сегодня тут, где – никогда); что большей степени скорбного бесстрастия вы не найдете, поэтому смотрите сейчас и запоминайте на всю жизнь... что, разве неправда? что-то плохое сказал? за это надо забрать? у, святые камни Европы! когда меня заберут, выдворят, внесут в компьютер, дадут срок, наложат штраф, – когда меня не станет, кто будет вас защищать от Америки, от агрессии бейсбола и баскетбола, от биты демократии и прогресса, от Брюса, который опять вовремя вылез, чтобы с чувством юмора в пятый раз спасти мир? и тут взрыв! а где Брюс, в отпуске? и кто напомнит туристу о внутреннем его человеке перед лучшим художественным ответом Запада на вызов восточных медитативных практик – картиной Ла Тура «Мария Магдалина со свечой»? кто, если не я? ответь, Александровск, и Харьков, ответь!). Идемте скорее в другой зал, да нет, да что вы, да не потому, что нельзя, как это нельзя – вы платили деньги и все можно, но Лувр скоро закрывают, а мы еще не все видели. Мы еще не видели картину Вермеера «Кружевница», а значит, не видели по-настоящему сверхъестественной живописи, мы еще не видели картины Рембрандта «Туша», с этого убитого, воняющего сырой кровью мяса начинается XX век, парижская школа, Хаим Сутин, богословие после Освенцима. Помните, как у нас раньше в гастрономах в рыбном отделе писали: «Треска обезглавленная поротая»? «Минтай обезглавленный поротый?» Нет? А я до сих пор помню свою оторопь перед картиной позорной казни невинной, немой рыбы, которую, уже обезглавив, еще и порют на потеху человеческой черни. Нас с вами. Это ужасно. Если не дают смерти, так хотя бы забвение. Я помню все. Да, пожалуйста. Которую я там показывал? Внизу? Час назад примерно? А, ну да, без рук. А та, на лестнице, с крыльями – без головы. Да, забыл, и без рук тоже. А та хотя бы с головой. Хотя этой без головы пожалуй что лучше. Ну? Да, и была. Без головы. Верно. То есть нет. Не путайте меня. Разумеется, с головой, как это богиня – и без головы, и эта – с руками, но когда ее выкопали из земли 150 лет назад, она уже 2000 лет как пролежала – ну и вынули, как уж была. За 2000 лет все что угодно куда угодно слиняет. Рук так и не смогли отыскать. Да, искали. Но кто-то под землей постарался их захватить как следует. Да, пожалуйста. Только давайте все в уголок (а то вон уже из того угла начинает следить; вот сюда, за колонны; пронесет – или уже по рации меня

передают, ведут из зала в зал? а потом, как уже пригрозили, в участок; я не апаш и не хочу к ажанам). Так, слушаю. По национальности кто она будет? В смысле – кто? Венера? То есть Афродита, чтобы вас не путать. А вы как думаете? Нет, не французенка. Она вообще-то – богиня. Но в общем... ну да, поскольку родилась у острова Кифера, а волны вынесли ее на Кипр... ну, в общем, вы правы, если они приземлили ее здесь и называли Киприда, значит, у нее есть нация. Сдаюсь. Гречанка. И откопали ее на греческом острове Мелос. Но тут своя тонкость. Понятно, что вы запутались, поскольку сами греки изрядно запутались в этом вопросе и нас попутали. Поскольку тоже все о любви думали, ну и, значит, об Афродите – кто она все-таки будет, и пришли к выводу, что их две. Одна, для всех – Афродита Пандемос, ну то есть, скажем, всенародно-общеупотребительная, а все какие имеются в виду? Само собой, все – это греки. Остальные вообще никто, хотя они и есть. Рабы же есть, правильно, хотя они никто, верно? А то было и так, что греку грек – никто. Грек греку – метек. То есть афинянину спартанец никто, и наоборот. Поскольку чужеземец – вне закона. Убить его – это в принципе неплохо. Где-то недурно. Метека жалеть – только портить. И Никто свободно мог загреметь в рабы у Всех. Это вам не англичанин в Нью-Йорке. Да, а другая, не для тех, кто – Все, но и не для тех, кто – Никто, а для... для Не-всех, она звалась – Афродита Урания, то есть Воздушная, Небесная, эта – непонятно какой нации. Небо же надо всеми встает, верно? (да, надо всеми встает... кому Бог подает).

Да. Мы пойдем сейчас на этот холм, на холм мучеников или свидетелей, потому что мученик за Христа это и есть свидетель истины, и этот холм так и называется МонМартр, гора свидетелей. Здесь за веру во Христа обезглавили в 250 году епископа Сен-Дени, святого Дионисия или, по-нашему, Дениса, и еще двоих его спутников. Как церковь называется? Сакре-Кёр. Еще раз? Сакре-Кёр. Еще раз? Все равно Сакре-Кёр. Хоть пытайте – что я могу сделать. Не могу же изменить название из-за того, что его трудно запомнить. Что значит? Вот это вопрос по существу. Святое Сердце Христово. Которое Ему пронзили за всех нас, а точнее – все мы, и продолжаем пронзать каждую минуту, мучители Того, Кто один нас только и любит. Нет бы нам помучить кого другого, кто нас не любит. Ведь никто нас по-настоящему не любит, никому из нас другой никто из нас не нужен, а Ему нужен... Беда, странная беда только в том, что, согласно Ему же, кого бы мы ни мучили, даже нашего заклятого врага и к тому же последнего гада, мы на самом деле снова и снова мучаем – Его... Нравится? Очень? А мало кому нравилась, когда построили, потому что ни на что не похожа, из-за того, что похожа на все сразу, я потом объясню, на что непохожа тем, чем похожа, когда поднимемся и войдем. Один только авангардист Аполлинер ею восхищался. Поэт-модернист защитил храм Божий в стиле эклектики, странно, правда... но я лично думаю, тут дело в польской его крови. Поляк – он сначала поляк, а потом уж авангардист там или кто. Костел для него – это костел, а потом уже все остальное. Да, дождь. Да, проливной. Так это-то и прекрасно. Вы хотели увидеть классический Париж? Вот это и есть классика, когда заливает за ворот. В дождь Париж расцветает, как серая роза. Кто это написал? Неверно. И не он. Нет, и не я, куда мне. Правильный ответ: какая разница кто. Важно - что. Кто бы это ни написал, он сказал чистую правду. Эта правда согреет нам душу, когда мы полезем на холм. Да, холм крутой. Потому на нем и засели коммунары, что высотку защищать легче, чем взять. Но мы с вами возьмем. Мы и не то брали. Что нам 130 метров? Вперед – и с песней.

Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Дахау евреям отдать!

В этом розовом доме жил Морис Утрилло. Он писал Монмартр и больше ничем не занимался. Если не считать того, что пил, как лошадь, но это не занятие, это вредная привычка. Он был внебрачный сын художницы Сюзанны Валладон. Она была женщина с вредными привычками. Имела ли она понятие, что сыновья бывают от брака – или только от мужчины? Понятия не имею, друзья мои. А тут жила

Далида. Деревня, да? Зеленая заплетень. А ей нравилось тут жить. Она покончила самоубийством. Вредные привычки? Какие-нибудь были наверняка, но какие именно – не скажу, врать не буду. Значит, разонравилось тут жить, правильно. Пошли дальше. Тут, на улице Лепик 54, полтора года жил Ван Гог у своего брата Тео. Он был нездоров душевно. Я тоже не совсем здоров душевно, и как раз почему-то сегодня опять это чувствую, но к делу это не относится. Он и пил, и курил, и заключил этот ряд вредных привычек самоубийством. Да, еще отрезал ухо. Как кому? Чужого уха он бы и мухе не отрезал. Себе, нелюбимому. А вы бы что сделали? Что-то надо было отрезать. Что-то в нем было лишнее. Когда у человека всего не хватает, это знак того, что в нем самом что-то лишнее. И вообще – бывали в Арле? Рассказываю: Прованс. Температура в тени 35. Человек каждый день встает, напивается абсента... абсент, друзья мои, это полынно-анисовая настойка, если вам интересно знать, мне самому интересно, дело в том, если кто читал у Ремарка в «Арк де Триумф», эту дрянь в 20-е запретили, от нее начались проблемы у мужчин, то есть у мужчин проблемы начались гораздо раньше, но в 20-е годы XX века поняли: все дело в абсенте, и запретили. А сейчас вновь разрешили, наверное, потому, что виагра, да не путайте же меня, при чем тут фуа гра, та пишется раздельно, мужские проблемы решила, наконец, раз навсегда, и я вчера с удивлением обнаружил абсент в супермарше «Монопри», так вот, градусов в нем все 54 колеса. А рядом стоит другой абсент, подороже, там и вовсе 66. Итак, ты, будучи от природы Ван Гогом, то есть человеком, что греха таить, возбудимым, встаешь, с утра пораньше, во благовремении принимаешь, как положено художнику, абсента уж не знаю в 54 или 66 колес, затем отправляешься в поле подсолнухов на целый день на солнцепек от 35 колес и выше и пишешь по картине в день, подпитываясь абсентом и черным табаком, потом через пару месяцев такого времяпрепровождения приглашаешь Гогена, тоже художника, человека, стало быть, тоже нервного, но не с такою нежною душой, вспомним хотя бы, что до того мсье Гоген был сначала матросом, а потом биржевым маклером, и неплохим, а оба этих занятия закаляют душу; и, стало быть, некоторое время вы оба с утра, как положено художникам, регулярно принимаете абсент, степенно беседуете о жизни и об искусстве на солнцепеке, слово за слово об искусстве и – вот вам и ухо, друзья мои. Да, так он покончил самоубийством. Но не от того, от чего Далида. Той хорошо жить разонравилось. А ему разонравилось жить плохо. Он был слишком серьезным для художника человеком. Повторяю, он умер бы, но нипочем не взял бы чужого, а приходилось брать, хоть умри; вот он и умер. У него развилось праведное для всех, кроме тех, для кого это губительно, чувство вины, – что он живет за счет брата, а у того семья. Ну он и решил эту проблему как умел; а не умел он, кроме как картины писать, ровным счетом ничего. Лучше бы он продолжал жить за счет брата, и тот бы жил, и кормил бы семью, а как он застрелился из ружья, так и брат с горя прожил очень недолго и тоже умер, перестав, выходит, кормить семью. Вот как все повернулось. Ван Гог думал как лучше, а получилось как всегда. Ну а тут регулярно бывал Тулуз-Лотрек. Он был человеком с очень вредными привычками. А вы бы как на его месте? Нет, он-то не был беден. К тому же он был знатен. А что толку, если ты...? Вот я вам сейчас расскажу его историю. Да, вот так ему не повезло. Зато теперь мы имеем Мулен-Руж. Этот кабак в этих завалах мусора, на этом бульваре Клиши в жизни бы не имел сотой доли той славы, как теперь, если бы не этот калека. А теперь мы пройдем мимо всей этой богатой шелупони, стоящей здесь в очереди, всех этих американцев и японцев, среди жен и подружек их отчетливо выделяется парочка наших компатриоток, спорить могу по выгяду, который их отличает, уж поверьте моему наметанному взгляду. А нам ни к чему это меню «Фрэнч канкан» за 920 франков, и меню «Тулуз Лотрек» за 1020 франков, и даже это меню у стойки бара с одним бокалом шампанского и зрелищем за 390

франков. С одним бокалом от этого зрелища со скуки сдохнешь, а на второй не хватит. Знаете, друзья мои, когда-то, лет 30 назад, у меня был друг из города на Неве, он много привирал, как теперь выясняется, но многое говорил правильно, например: «Нельзя покупать втридорога то, что в принципе должно стоить дешево. Например, портвейн №13 вечером из ресторана на вынос. Нарушение эйдоса данной вещи не проходит даром, и стоит вам взять его в кабаке на вынос по цене коньяка, вот увидите, это плохо для вас кончится». И таки оно так и кончалось: плохо. Для него тоже, потому что в этой области он частенько поступался принципами. А мы с вами поступим правильно, пройдя мимо всей этой публики; так прошел бы мимо нее сегодня и сам Тулуз Лотрек, так прошел бы мимо «Ротонды» сегодня Модильяни, так прошел бы мимо кафе «Куполь» Пасхин, так они прошли бы мимо всего этого шикарного безобразия, эти псевдобоги, эти нищие Мидасы, превращавшие в золото для других все, к чему они прикасались. Их прохватил бы понос, потому что расстройство желудка происходит от расстройства души, оттого, что из-за них обычные пункты розлива превратили в аттракцион, который должны показывать такие люди, как я, а это еще не худшие, не самые последние, я – это только предпоследний, поверьте на слово – больше мне вам дать нечего. Слово честно бессовестного человека. С другой стороны, если Модильяни сам не мог ничего заработать как ни старался, он должен понять своо брата артиста и дать ему возможность заработать пару франков на себе. Не исключаю и того, что кто-то когда-нибудь заработает на мне. Не думаю, что это произойдет, теоретически маловероятно, но практически и не то бывало. Так что я, буду ему мешать? Пусть только знает меру. А то ведь за эту голь перекатную без лонжа, Ван Гога, Модильяни, Рембрандта – гребут без меры и числа! Требую подать в суд, создать кроме международного Гаагского трибунала еще 2-й международный трибунал, чести и совести, – и подать туда за оскорбление личности покойников. Я, трехкопеечный, имею право на свои три копейки с Джойса, сидевшего в пивной «Липп» с Хемингуэем, и пять копеек с Хемингуэя, ведь он был побогаче Джойса, но право только на жизнь, на хлеб насущный, не на *деньги* же! И мы с вами поступим лучше, чем все эти американцы – мы пойдем в нашу гостиницу «Евроотель» в 2 звезды. Просто нам встретились две звезды. Две светлых повести. Но все удобства в номере, а это уже, считай, три звездочки. Пять, конечно, лучше, но в Париже традиция – тут нет пятизвездочных отелей, даже «Риц» на пляс Вандом, откуда принцесса Диана выехала навстречу своей, да, туннель у пон д'Альма, мы по нему проезжали сегодня, сами видели – слишком короткий, чтобы там успеть разбиться как следует, но... так даже «Риц» имеет только четыре звезды. Нам довольно двух. Если они прямо напротив «Мулен-Руж», на бульваре де Клиши – и с далекой звезды, с двух далеких звезд со всеми удобствами в номере будем не смотреть на это пошлое шоу, а просто целую ночь здесь на двух далеких звездах ж и т ь. Просто. Как сам Анри де Тулуз-Лотрек, потомок князей Тулузских. И пусть они не волнуются – сиживали и мы в хороших местах. Сиживали мы на хороших местах в автобусах. Из ресторанов рекомендую Макдоналдс. Ах, вы хотите настоящего парижского? Потратить немного денег? Смотря что считать немногим... Нет, 100 марок на двоих на устрицы и шабли не хватит. Что вы, это Париж, тут за 330 франков и в морду не дадут. Тут стакан пива, буквально 250 грамм, а не 330, стоит дороже кружки пива в Мюнхене. И это у стойки, а если сядете за столик... И не говорите, Германия – просто рай по сравнению со всеми этими парижанами и венецианами. Рай с человеческим лицом. Да. Нет, поймите правильно. Если одними устрицами желаете отобедать, тогда аккуратно уложите в дюжину устриц и бутылку шабли. Но если после этого только аппетит разгорится, на меня прощу не жаловаться. Устрица маленькая, что я могу сделать? Она не млекопитающая. На вкус? Как бы вам это сказать. Ну сами поймете. А идите-ка лучше в ресторан «Леон» на Пигаль, 200 метров отсюда. Да, та самая пляс Пигаль, мог ли думать

хороший скульптор Жан Батист Пигаль в осмнадцатом столетии, что его именем названная площадь так прогремит на весь мир своими сексуальными излишествами, да, и посреди фонтан, похожий на клумбу, и на углу слева – «Леон», один из сети «Леонов», кажется, начало им положили в Брюсселе, там кормят одними муляжами, мушельными, по-нашему по-немецки, ну этими... мидиями, но во всех видах. И в салате, и в супе, и жареные, и пареные, и я уж не знаю. Там, наверное, 50 блюд из мидий или сто. И цены средние между Макдоналдсом и устрицами с шабли. Причем будете там – имейте в виду, есть их положено так: распатронить мульку надвое и одной половинкой раковины есть из второй как ложечкой.

Н-ну! Такого со мной еще не было – сунуть экскурсовода в номер на троих. Экскурсоводу, как и шоферу, вообще-то положен одноместный номер, он должен разбросать свои кости во все стороны клоповника и утром спокойно привести себя в порядок, не ожидая своей очереди. Но понятно, что на тебе экономят, и если ты сам делаешь поездку, то сам экономишь на себе, и одноместный номер тебе достается лишь как случайный подарок небес, когда возникает вдруг одно непарное место – не пришей кобыле хвост. Но чтобы сунуть меня, дежурного по парижскому апрелю, в трехместный номер – такого я еще не едал! Это когда в Париже, как всегда в апреле, проливной дождь, когда в день пять экскурсий и мясо отстает от костей, – где, интересно, Гершвин видал свой «April in Paris»? и Бунин в «Гале Ганской» – как прекрасен Париж весной, в апреле? Они, наверное, жили в параллельном Париже, – когда к концу трудодня после бессонной ночи в автобусе ты держишься на автопилоте... и тут к тебе подседают сразу двух ветеранов труда из Харькова и Днепропетровска! Утром у них наверняка по забору на каждого, а на все сборы – 30-40 минут. Втроем! А мне без контрастного душа второй день не поднять! Извините, я ничего не могла сделать. У нас все супружеские пары в этот раз, кроме этих двоих мужчин (ты как организатор поездки могла доплатить, и я получил бы одноместный номер, но этого я тебе говорить не буду), они приятные люди. Да, они приятные люди, но приятные люди с утра так же занимают душ, как неприятные, а он один, а времени в обрез. Вечно вы затеваете скандал. Кто, я? Ладно. Пойду в номер от греха подальше. Соседей в поездке не выбирают, как родителей. Надо найти в них хорошее. Так жить легче. Хорошие мужики. Ну, за первый день в Париже. Как, водку? А что, Вы не думайте, это настоящая «Охотничья», я брал ее в русском магазине в Мюнхене по 18 марок. Да я вижу, что водка настоящая, просто мне через час опять вас всех вести, еще полдня впереди, три экскурсии, а бросьте, по глоточку, ну давайте по глоточку, хорошая водка, 45, в дождь в самый раз, но зачем же все-таки водку – и в Париж? Тут как-то все хотят попробовать чего-то местного... сало тоже с собой везете? Тоже из русского магазина? Вы что, это настоящее украинское. Тут разве умеют делать? И что... везете сало с собой из Харькова через Мюнхен в Париж? А что тут такого? Я сам и солил. Сало вещь серьезная. Серьезно? А как же ж. Сало надо уметь, во-первых, выбрать на рынке. Ну это кто какое любит. Я лично люблю *почеревок*, с прожилками мяса. Тут ничего этого не знают. Первое же дело – у нас его *шмалят*. Раньше я не знаю, а сейчас на газу. Ошмалят щетину – потом на него соломы накидают и жгут ее, пока вся не прогорит. Чтоб запах был, какой надо, а не газа. Он потом черный, как вакса. Потом вымоют щеткой и какими-то составами – добела. А потом уже засаливают. Я сам солил. Два дня так, причем соли сыпьте сколько угодно, ошмаленная шкурка все лишнее возьмет, а на третий день шпигуете чесноком и в холодильник на сутки. И можете кушать. А немцы не шмалят, им запрещено. Чтоб не пахло под носом у соседей. Те и думать не будут – с ходу на них в полицию. Так они его – бредят. Представьте себе, я узнавал. Бредят с мылом. Та это же ж разве потом сало? Та оно же ж потом само как мыло. А шкура? Подошва! А наше ешь с ошмаленной шкуркой, как мороженое, вместе со стаканчиком. Тает во рту, без хлеба. В нашем одни растворимые аминокислоты,

от них не потолстеешь, сами индийские йоги признавали. Естественно, видел. Можно сказать, участвовал. Он чует недоброе, не хочет выходить, так его вытаскают и гладят, чтоб успокоился – и быстро левую ножку подымут ему и такой заточкой – раз, он практически без звука – брык, и туда *квач* ему – тык, початок кукурузы или другую палку, чтобы кровь не шла. Они кровь потом спускают аккуратно в ведро, на кровяную колбасу. Вы закусывайте, закусывайте. Сорок пять градусов все-таки, вам еще нас водить. Спасибо. Да, сало хоть куда. Но с хлебом лучше. Вы, может быть, и хлеб сами пекли? Нет, хлеб я купил в Мюнхене. Интересный хлеб. Картофельный. Ну? Сколько живу, такого не пробовал. Вот будете знать. Век живи – век учись. Русская водка, украинско сало, немецкий хліб. Интернационал – и не надо никакого Союза. Показываете вы классно, но картинками так же сыт не будешь. Ну, еще по капелюшечке. Та бросьте. Знаете, как у нас говорят? *Що гірке, то гірке, що гідке, то гідке, а що пити нэ можно – то вжэ брэхня!*

Закругляем экскурсию, они явно выдохлись, только объясню, чем отличается итальянский парк от французского и английского, – и айда с собой вдвоем в монастырь Сан-Марко, посмотреть на фра Анджелико. Туда еще отсюда пилить минут 12 быстрым ходом и еще назад, и там. Даем свободное время – час пятнадцать. Дорогие друзья, сейчас у вас час свободного времени, можете перекусить, кто что с собой взял, шницели-бутерброды-пирожки, со вкусом, прямо здесь, за палаццо Питти, на скамейках медийских садов Боболи. Вторые Медичи, герцоги, именно для обедающих бутербродами и создали укромные гrotты в садах Боболи. Чтобы не стесняться. Итальянский парк эпохи Ринашименто, почему-то называемого у нас французским словом Ренессанс, отличается от последующего регулярного французского парка и последующего за французским иррегулярного английского тем-то и тем-то; а теперь устали – отдохнем. Устали, вижу, устали. Пожили ребята на свете, пожили и дамы, и господа. Я их люблю на самом деле. Жалею их натруженные социализмом спины и ноги, радикулиты, шпоры, язвы, ишемии; да и души их не так заскоружили, это как смотреть, с кем сравнивать... нормальному инженеру из какого-нибудь Сиэтла не до любопытства, японцу только бы щелкнуться. А нашему все интересно. Какой бы еще турист в мире не то слово заинтересовался, но просто потерпел рассказы об алхимизме итальянской живописи от Козимо Тура до Джузеппе Арчимбольдо вместо обычного *ах-ах посмотрите налево-посмотрите направо италия какая крррасота!?* А им интересно. Это только кажется, что я к ним снисходительно. Это я над собой, не над ними. Лучшая проклятая команда в мире. И за все неудобства своей долгой жизни и нынешнего путешествия хочет немногое – права высказаться. «Мне эта пирамида во дворе Лувра не показалась». Не показалась так не показалась. Имеет право. То, что она имеет право стоять где ей вздумается, обеспечивает ему право высказываться о ней, как уж ему заблагорассудится. Оба, и он, и она, имеют право. «У нас в Харькове тоже первая площадь в Европе и вторая в мире». – «Простите, не был в Харькове. Первая – в каком смысле?» – «Да нет, Вы не поняли – я же говорю: первая в Европе и вторая в мире». – «По чему?» «Как почему? Я же говорю – самая большая в Европе и вторая в мире». «А, ну, значит, – по величине». – «Ну! Я же ж и говорю – первая в Европе. И вторая в мире. Понимаете?» Чего же не понять. Мы в 12-тысячном Роттенбурге, за крепостными стенами – чудо-долина по реке Таубер, внутри... одно слово раритет – небомбленный лишь на четверть, разумеется, полностью восстановленный, средневековый немецкий городок, сохранился с 15 века, как муха в янтаре, не продохнуть от американцев и японцев, и он чувствует – прожил целую жизнь, а вокруг только и было, что самая большая площадь в Европе. Но вокруг все-таки была самая большая площадь в Европе. А за что-то ведь хочется уважать не только себя, но и вокруг.

Фра Беато. Блаженный брат. Как он впял медитативную фресочку-картиночку каждому брату в стенку кельи. Рядом с окошком. Чтобы каждый на свою молился. Поступил по-братски. Да, жаль, в стороне от маршрута, сюда просто по времени экскурсию не вставишь. И билет 8 марок, это для них уже перебор. Все эти Уффици, Питти по 12-13 000 лир, ты еще засунул капеллу Бранкаччи, еще 5 марок. А странное дело этот Мазаччо, довольно маленькое все, теряется в натуральном масштабе, поднято высоковато, можно было и опустить, хуже только св. Георгий Пизанелло в Санта Анастасии в Вероне, такой маленький на такой верхотуре, ничего не разглядеть, а писали – огромная фреска, никому не верь, никогда, не спропорционировано, а сколько шума. А тут? Там, где Петр крестит, крещаемому холодно аж вздрагивает, это живопись, и где Адама с Евой выгоняют из рая, Ева рыдает, воет во весь раззявленный рот, как брошенная женщина. По полной правде, слышно, как. Ты же помнишь, как это бывает. Сто лет прошло, но трудно забыть, как им плохо, когда их бросают. А тебе никто так и не отомстил. Не сглазь. Кто-то должен меня полюбить. Чтобы я обрел покой. Чтобы меня простили. Девушка. Да. Как ее звали? А ведь совсем мальчиком писал. Сколько ему было? 25? В 27 неполных он уже умер то ли в Риме, то ли по дороге в Рим при невыясненных обстоятельствах. Томазо ди Джованни. Фома Иванов. Прозванный Мазаччо.

Фра Беато Анджелико. Блаженный ангельский брат. Он ведь смотрел на Мазаччо, это известно. Ходил и изучал капеллу Бранкаччи. И использовал приемы того против него самого. Для прорыва «реального», плоского пространства стены в бесконечное Реальное. Для того же, для чего наши использовали обратную и параллельную перспективы, он использовал прямую. Стало быть, на противоположные лады можно идти к одному. Стало быть, все эти разговоры о том, что картина погубила икону – это споры о словах. Обдумаем потом. К делу. Я здесь, друзья. Перекусили? Попрошу минуту тишины. Сейчас мы пойдем в Новую сакристию церкви св. Лаврентия. Сан-Лоренцо. Так называемую капеллу Медичи. Сейчас вы увидите, может быть, лучшие из скульптур, когда-либо созданные на земле. Утро, Ночь, День, Вечер. Но главное – вы почувствуете абсолютную тишину вечного покоя, немой разговор шести фигур и девы Марии с младенцем Иисусом. Это тишина вечной смерти, освобождающей всех нас для какой-то особой вечной жизни, в которую верил Микеланджело. Он сам не знал, во что верил. Он был отравлен Платоном в переводе Марсилио Фичино, которого наслушался мальчиком в садах Медичи, а думал, что христианин. А верил только, зная по себе, что наш дух – пленник тяжелой и пригибающей вниз плотской, земной материи, может и должен быть освобожден от нее, сбросить ее и стать свободным и легким. И это может быть только через смерть. И он ждал ее прихода, он пел ее приход, а сам дожил до 89, и все это время он работал в ее ожидании и слагал о ней песню. И сейчас вы ее услышите – эту немую песнь. Услышите по очереди. Мне придется разделить нас на две группы – там 50 человек не поместятся. Но запомните – там я говорить не буду, там говорить – нельзя. Там все должны неметь. Должны и обязаны. И тогда, если толково молчать, вы услышите этот разговор в загробной жизни. Ключ – в фигуре Девы Марии... Ну как? Что, мальчик? Ах, ты заметил, что фигуры соскальзывают со своих лож – полированных крышек саркофагов? А крышки для них слишком малы? И это верно. То ли раздавят их, то ли соскользнут? В точку. Молодец, мальчик, как твое имя? Андрюша совершенно прав – фигуры соскальзывают, они слишком велики и тяжелы, а крышки слишком малы и гладко отполированы... нет, у Микеланджело ничего случайного не бывает, он полировал только то, что... а остальное оставлял с грубыми следами резца, как незаконченное – и тоже не просто так... А соскальзывают они потому же, почему и Леонардо изобрел свое «сфумато» – «исчезающую дымку», – потому что живопись все может, но она не может передать время в пространственном искусстве живописи... И

тогда он придумал эту полумглу-полусвет, проградуировал ее – и вот мы видим таяние времени – самого реального и самого иллюзорного из всего, с чем мы имеем дело на земле, потому что времени – нет, верно? Потому что – где оно, когда прошлого уже нет, будущего еще нет, а настоящее уходит в несуществующее прошлое быстрее, чем мы скажем слово «настоящее»... и в то же время оно-то и есть, а то, кто старит нас и убивает, как не оно? Что не могут повернуть вспять и самые могущественные на земле люди, если не его? Так же и Микеланджело. Именно – соскальзывают. Потому что призрачный человек не удерживается во времени, в призрачно плотной жизни и соскальзывает в бесплотно-реальную смерть. Вот что он хотел показать. Это и в психиатрии есть такое слово – когда ты, мальчик, выходишь на общий уровень рассуждения и рассуждаешь конвенционально: «Допустим, я дал некоему яблоко». А Буратино тут же «соскальзывает» на конкретный уровень: «А я не дам этому некоему яблока». И есть такие люди – они могут всегда только соскальзывать. Понимаешь? Да? Вижу, что да. Ты молодец, мальчик, бабушка, у вас замечательный внук, его надо развивать, да я понимаю, что вы это и так делаете, и молодцы. Вы почувствовали поле энергетического напряжения, стоя в пустом центре капеллы на скрещении духовных сил, исходящих от фигур – и не находящихся тревоге своей разрешенной даже в Деве Марии, чье в сторону повернутое лицо и спиралевидная посадка (как и спиралевидная лежка тех четырех фигур, как и спиралевидная посадка фигур Лоренцо и Джулиано) – само воплощение тревоги. Это побудка смерти от земного сна. Сигнал вечной жизни. Стоим. Чувствуем. Слушаем? Услышали. Почувствовали в себе сигналы? Тогда я спокоен. Теперь задержим это в себе, онемеем хотя бы на минуту, друзья мои, пока будем уходить. Уходим. А теперь вперед – и с песней. Мы сидим на социале, Сыты-мыты – и хорош. Жили-были-приканали... Без поллитры не поймешь.

Вперед, дорогие дамы и господа. Братья и сестры, вперед. К вам обращаюсь я, друзья мои. Я брошу свои полки на приморскую Равенну и болотистую Феррару, изобрету небывалый маршрут с осмотром сказочной Пиенцы и винного Монтепульчано, с паломничеством евреев из бывшего Союза и их родственников из Израиля и Нью-Йорка к святыням католицизма Ассизи и Монте Оливетто, Субиако и Монтекассино, – но я больше не пойду пуцать кладбище. Я был там на соцпринуд-работах по 3 марки в час, пока от меня не отстали, когда я послал им «аттест» дипломированного врача, согласно которому состояние моего здоровья таково, что дальнейшие физические работы могут привести к стойкой инвалидности, а тогда, они понимали, я мог бы по суду обвинить их в нанесении мне непоправимого телесного ущерба; это было серьезно, и они сняли меня с общественно полезных физработ и на время оставили в покое; но я был в Аркадии и скажу – не верьте никому, кто скажет, что в Аркадии легко. Я сам это кому-то рассказывал когда-то, хорохорился, но уж если как на духу... Теперь я знаю, почему немецкие кладбища так разительно отличаются от Домодедовского. Впрочем, почему бы и не поверить говорящему: ему это было нетрудно. Я видел там маленьких, сутулых и с брюшком, но хилистых и привычных – им все было нипочем. Мне же непосильно. Легких физических работ в Германии не бывает хотя бы потому, что не бывает их и нигде на земле, только и созданной, что для изгнания с погружением в пот лица своего. Впрочем, возможно, это положено лишь представителям иудео-христианской цивилизации. Коллеги-турки на тяжесть не жаловались. Мой бригадир Акюш только интересовался – почему я так медленно гребу и мету. Но ведь четвертый час работаем. Ну и что же? Как что? Устал. А почему? Почему ты устал – удивился он искренно. Как почему? Мне сорок семь, на дворе конец ноября, идет дождь с мокрым снегом, я машу метлой четыре часа без передышку, а ты удивляешься, почему я устал? Но мне 53, сказал Акюш, я тут уже 26 лет, и никогда не устаю. А, нет, раньше, вначале, я тоже уставал. И знаешь, почему? От глупых мыслей. Это от глупых мыслей, сказал он сочувственно, со знанием дела. У каждого

свои глупые мысли. Ты, наверное, думаешь, что достоин большего. И это мешает тебе работать. Но если бы ты был достоин чего-нибудь другого, ты и был бы в том, другом месте, которого ты достоин. Вот поработаешь здесь 26 лет, и голова у тебя будет светлая, как у меня. И не будешь уставать. Он был прав. Но мне с тех пор второй год снились осенние листья. Поэт, живший до, восклицал: «Шумели в первый раз германские дубы». Я хоть и не такой поэт, но и мне дайте воскликнуть. Германские дубы, а подавно германские клены в аллеях Нордфридхофа, нашего Северного кладбища, никогда не шумели в первый раз; они как зашумели еще до рождения Одина, – так и не отшумят никогда! В конце ноября листья с них продолжают осыпаться как ни в чем не бывало, словно не осыпались уже целый октябрь и весь ноябрь, – и не будет тому ни конца ни края. Пластмассовыми частыми загребульками вымел я и деревянными большими граблями убрал в копны миллионы красных и желтых листьев, а они продолжали падать, и если бы меня не убрали с кладбища, я продолжал бы их мести и слагать новые копны, пока сам не свалился б, зарывшись в них носом, а они падали бы и падали, мокрые проклятые листья, мне на голову, всего меня покрывая золотом и кумачом; а теперь они падали в мои сны. *Autumn Leaves*¹. Музыка Косма. Слова матерные.

Падали. Желтые, красные. Падали. Там уже было – тьмы. И тьмы. Падали; пока сухие – шуршали; мокли, набухали – переставали. Листья под ногами. Податливые, как были когда-то добрые женщины на моей злой родине, намокшие, как больные голуби, сбившиеся в кучу, как арестанты на вокзале. Нас трое. Меня – не всегда точно знаешь во сне, что тебя, но сейчас знал точно: меня – вели на расстрел двое кавказских арабов в касках со «шмайсерами» по Нордфридхофу, направо и к углу, где я когда-то недоделал свою работу, а сейчас я уже там стоял – у вырытой аккуратно, и они меня сюда вели, а я уже стоял, с лопатой, не по-немецки, засыпать могилу вручную, себя же засыпать, которого уже вели, и я смотрел на себя сквозь себя, которого вели, и сквозь себя, который с лопатой; и тот я, который смотрел на которого вели убивать, тот я как заведенный все тащил граблями кучу листьев на себя и вбок, на себя и вбок, на себя и вбок, и думал – если добросовестно делать свое дело и убрать дорожку до листика, то они будут стрелять не по правде, потому что это сон, где стреляют не из АКМ, а из ненастоящих киношных «шмайсов», ненастоящими мягкими пулями, которые шмякаются о твою грудь и рассыпаются, как снежки, плюхаясь на падшие кленовые листья, шмякаются и рассыпаются, но лучше проснуться, потому что кавказцы – настоящие, и привели, чтобы убить, и вот сейчас, сейчас одна из этих пуль окажется живой и настоящей. Если ты не проснешься. Потому что это только сон. Но если ты не проснешься – дождешься: убьют во сне. На всю жизнь. Или отправят опять на принудработы сюда, не глядя на предписание врача, конечно, в Германии это может быть только во сне, но когда проснешься, это вечное возвращение на кладбище, это колесо выкатится из сна и продолжится наяву.

Понимая даже во сне, что бороться за жизнь надо не с убийцами, – невозможность этого была ясна, словно обговорена заранее, – а со сном, я и боролся с ним, пытаюсь оттолкнуть и сбросить с себя, но он навалился, он тяжелый, сон-волкодав, и если бы мне не помогли, то вот сейчас меня, вот сейчас меня, я услышал откуда-то знакомую фразу: «Как, Вы еще не видели ствола вблизи? Таки он неплохо выглядит», – и я увидел ствол вблизи, нет, увидел его предвестие, капсулированное в металлически-масляный, вороненый запах, у в и д е л з а п а х и понял: труба.

И проснулся. Я ехал на перекладных из Тифлиса. Я приближался к месту моего назначения. Автобус подходил к Щелковскому автовокзалу. И тут уж я напрягся как следует, чтобы проснуться по-настоящему. Нет, еще Париж. По-прежнему, как и вчера. Странно, но факт. В окно отеля торчала треклятая красная мельница.

¹ Осенние листья (англ.)

Все на своем месте. Париж. Бульвар де Клиши. Моросило. Соседи еще спали. На спинах, как мертвые. Упокоенная старость. Немного «Охотничьей», сало, Париж. Что еще надо? Я проснулся за десять минут до договоренной побудки по будильнику. 7.20. Ни в одном глазу, в погrome полутора бессонных ночей, с разбитыми членами и хмурой душой, но с 10-ю минутами форы пребывания в душе! Прибавим еще 5-7 моих законных... А—ах. Горячий. У-уй. Холодный. Ф-фф. Распускаюсь, медленно, но верно. Я бутон. Уже наполовину работает правое полушарие. Уже отходит от немоты правая икра. Приходят в движение голено-стопные суставы. Между безымянным и мизинцем левой ступни стерто до крови, но это обычная история. Там всегда. Не повод обращать внимание. Присохло за ночь, и ладно. Впереди Версаль и Лувр. Там опять откроется, но это уж до дома, в автобусе по дороге домой присохнет. 10 часов сидеть спокойно. Не хочется выходить из-под душа. Пусть подождут. Имей совесть. Спасибо за совет. Посоветуй еще, где ее взять, если ее нет. Но действовать придется, как будто она есть. Выходим по одному. Я и следующий я. Доброе утро. Извините, что задержал. Да нет, мы понимаем, вы ж устали больше нас, вы на работе, а мы на отдыхе. И правда приятные мужики. Люди. Но много их на один душ.

Континентальный завтрак. Багет, круассан, масло, джем, кофе. Сок дадут или как в прошлый раз – втихаря зажмут: все равно русские не поймут, а поймут, так не объяснятся? Дали. Разбавленный, зато холодненький. Все могу сыскать, например, лучшее. Всегда можно отыскать лучшее. Можно – значит, нужно. Вот скоты, накрыли, поставили приборы. Обслуживают. Значит, нальют только стакан сока. Лучше, когда самообслуживание. Тоже не шведский стол, но хоть разбавленного сока можно самому брать и брать. Как же они нас. Нет, не так. Как же мы для них существуем – не как на самом деле. Как в учебнике немецкого на шпрахкурсах: Дунай – самая длинная река в Европе. Но, госпожа Райтмайер, самая длинная река в Европе – Волга. Да, но Волга течет в России. Ну и что же? Как что? Ведь Россия – не Европа. Характерно: то, что ты русский, никого не колышет. Еще один живой человек-как-человек, устроился себе и живешь. Каждый в отдельности русский, турок, перс, румын – чего о них говорить. Здесь выучили бытовому интернационализму так давно, что люди, которым до 60-70, и не помнят, когда было по-другому и как бывает по-другому. Но вот русские как «русские», но вот Россия-страна... Реклама. Бутылка замороженной немецкой водки «Пушкин» вылетает на телезрителя изо льдов айсберга, по которому бродит белый медведь. Надпись: «Водка «Пушкин». Медведь в человеке». Водителю автобуса – по дороге мимо Реймса, столицы шампанских вин: «А водку «Пушкин» знаешь? – «Да! Медведь в человеке». «А Пушкин-то – не медведь, знаешь?». « Да? А кто?». «Великий поэт. Дихтер. Как у вас Гете». «Вау!». А тот, тринадцатилетний турок, или нет, все-таки итальянец? Выше этажом, мне – в лифте: «Вы немец?» – «Нет, я из Москвы». – «?..». – «Москва – это столица России». – «?..» – «Это более чем десятиmillionный город». – «Вау!!» Конечно, надо учесть, кто в нашем доме живет. Но в нашем доме в Москве тоже жила всякая публика, однако же любой Витек знал не только, что «Ланден из э кэпитэл оф зэ Грэйт Бритн», но и что Стамбул находится в Турции, а итальянская мафия происходит из Сицилии, которая является частью Италии. А мой приходит из гимназии: сегодня нам объяснили, почему Россия – типа страна третьего мира. Во-первых, там очень много бедных и мало цивилизации. А во-вторых, низкий уровень образования и плохая квалификация. Так ты же сам говорил – в вашей гимназии каждый пятый – русский. И в основном русские сильнее других в математике и физике, и в английском. – Да, это так. И кругом русские программисты. – Ну. – Так они что, этого в упор не видят? – Выходит, не видят. Они не понимают, что цивилизации может быть мало, а квалификации – навалом? – Ну этого-то уж они точно не понимают. – Но ты-то хоть понимаешь? – Не-а.

Не понимают – их дело. Поймут еще, да поздно будет. Когда я поведу свою гвардию на Версаль. Дворец будет взят! Я, иллегальный бродяга, не знающий толком ни одного европейского языка, но все равно последний европеец среди всех постевропейских варваров – итальянцев, французов, немцев, почему-то решивших, что они у себя дома, – я возьму его, как в сентябре 1789 его взяли рыночные торговки зеленью. Толпа переколола вилами и дрекольем верных до конца швейцарских гвардейцев и увезла короля и королеву в Париж на будущую смерть. Больше нет короля. Нет королевы. Мы мирные люди и возьмем его миром. Не так, как брали Бастиль, когда против семисоттысячной толпы стояло 32 все тех же швейцарских гвардейца и 82 инвалида во главе с престарелым начальником тюрьмы Де Лоне, разорванным в куски, а освобожденных из этой страшной цитадели тирании оказалось ровно 7 человек. Вот как делаются, вот из чего состоят события и впрямь всемирного значения. Но мы не претендуем. Сегодня я беру Версаль, а еще месяц назад я как последнее падло должен был извиняться перед казахско-немецким семейством, организовавшим свое турбюро. Я заказывал через них иногда автобусы и был с ними в самых мирных отношениях. Но никогда не знаешь, что взбредет им в голову. В этот раз я заказывал через них билеты на самолет в Москву, и мне что-то показалось в билетах не так. Что нас всех троих посадили не вместе. И я позвонил и сказал: «Катя, вы что-нибудь в этих билетах понимаете? Я – нет. Объясните мне, пожалуйста, что вот эти обозначения обозначают? Вместе мы или отдельно?». Толкового ответа я так и не получил. И вот вчера, месяц назад, ровно в 8 вечера, ровно накануне отлета в Москву, звонит муж этой Кати, глава Фирмы, фольксдойч с законным паспортом и законным гешефтом, и говорит: «Вы оскорбили мою жену. У Вас есть еще час, чтобы явиться к нам в фирму и извиниться перед ней. В противном случае я передаю дело в суд». И кладет трубку. Я? Оскорбил его жену? Я даже свою жену никогда не оскорблял. Ну, может быть, когда-то, нечаянно... Мне – извиняться? За что и перед кем? Но я поехал. Мой способ существования иллегален от и до. Пусть я призрак, автобусы мои вполне материальны – и совершенно незаконны. И он полностью в курсе. Потому что сам их для меня фрахтует, но его не прищучишь. У него документация. Если же я сажая 40 человек, и мы должны тронуться, и в этот момент к автобусу подходят двое людей в форме и вежливо интересуется у шофера, куда мы едем, и просят показать документы на поездку, и становится ясно, сколько стоит автобус и сколько отель на 40 человек, то остается только спросить у пассажиров, сколько стоила им поездка и помножить на 40 – а кто из наших, живущих понаслышке, по наводке, на чужих хлебах, под вопросом, не убоится и станет играть в молчанку с баварской полицией? – то остается только вычесть одно из другого, чтобы получить мою грошовую прибыль. И тогда встает вопрос – почему вы не задекларировали эту прибыль? Понятно, почему. Потому что тогда ее вычтут – и добьют мне оставшееся ровно до социального минимума. Остальное же я в этот месяц заработал. Логично? А то нет. Справедливо? Кто же спорит. Но и – кто захочет не спать двое суток и стаптывать себе ноги и хрипнуть, говоря без умолку двое суток в любой из Флоренций – за бесплатно? Тяжело работать – и чтобы все по нулям? Чтобы все обернулось соцминимумом, который тебе и так дадут, как и тем, кто ничего не делал, а так сидел. А это никого не интересует, что речь идет о нескольких сотнях марок. О сумме, за которую я куплю себе нормальный телефон. Или, отложив и еще отложив, нормальный компьютер. В Германии, натырил ты страну на миллионы марок или обул на 12 марок 50 пфеннигов – все это графа «мошенничество». Самое мягкое, финансовое правонарушение. Тебя заставят выплачивать штраф из твоего соцминимума, но и это бы ладно, не на то жили и выжили, – тебя занесут в компьютер по гроб жизни. И в Европе тебе жизни не будет, и еще ребенку твоему придется отмываться при каждом неудобном случае. Я поехал извиняться. Еще не знаю за что, но

извиняться. Я вспомнил по дороге, как кто-то когда-то писал: человек не станет драться по-серьезному, пока он дерется только за себя. Пока за ним не стоит кто-то, более дорогой ему самому, чем он сам. За мной стояло самоуважение. И за мной стояла семья. Если бы я был один. Я плюнул бы на эту замечательную пару, и пусть бы она попробовала затаскать меня по судам. В худшем случае вернулся бы я в мою прекрасную Москву, где каждый камень знал когда-то, сотни лет назад, мою легкую походку. Но тут были еще два живых человека. Я понял, что драться и унижаться – одно и то же. Есть истинные ценности, и унижение – из их числа. Я приехал и спросил – в чем дело? И что же он мне сказал? Все, что угодно, но это! Он сказал, что его Катя ночи не спала, потому что я усомнился в ее компетентности в билетах. «Как вы могли сказать моей жене – вы что-то в билетах понимаете? Мы же не спрашиваем – понимаете ли вы что-то в ведении экскурсий». Класс. Век живи! Я сказал это в утвердительном смысле – что именно она, в отличие от меня, в билетах-то и понимает – и вот сейчас мне и разъяснит (и наткнулся как раз на то, что – ничего не смыслит). Но этого я ему не сказал. Я попытался только объяснить ему вполне искренне, что и не думал оскорблять его Катю, а прямиком уповал на ее компетенцию, затем и позвонил. Но этот серьезный мужчина, этот херр Манн не собирался вдаваться в простецкость моего тона, без объяснений понятную и сродственную любому москвичу; со всей тяжеловесностью человека из Караганды и всей серьезностью немца, он осведомился – собираюсь ли я приносить извинения или ему передать дело в суд. Я положил руку на сердце и сказал Кате свои извинения. Может ли кто понять, насколько искренне я их принес – и насколько презирал я себя за эту подлую, вынужденную силой искренность? «М... и вот что, – сказал он еще, потупив важно очи, пока принеслись извинения, – мы бы, э, не хотели, э, чтобы вы больше обращались к нам насчет автобусов. У вас есть свои фирмы, к ним и обращайтесь». Ради бога, сказал я. Обращусь к другим. Еще бы я к вам хоть раз обратился (этого не сказал). А сам все думал – какие свои? И только на улице понял – да еврейские же! Эти ребята даже в русской Германии ухитрились остаться антисемитами. Когда все перепуталось так, что и поэту не снилось. Когда уже никому было нечего сказать. Они не любили больно умных. Сколько раз мне говорили, что у меня на физиономии отпечатано, что я больно умный. И, видимо, даже извинялся я каким-то умническим макаром. Мне же со стороны не видно. Внутри себя я такой же, как все: просто живой. Они решили, что я продолжаю издеваться. А я чувствовал себя так, будто в лагере мне нассали на голову. Но я спас нас троих дважды. Не только автобусы мои, им известные, были иллегальны, но и наш отлет в Москву. Собираясь туда, откуда мы «бежали», мы должны были пойти в собес и сказать, что мы туда собираемся, и мотивировать это серьезной причиной типа смерти родственника и, главное, сняться на это время с социальной помощи. А на что же туда кто едет? Никто не плюет себе в суп. И мы не хуже прочих. А это очень серьезное нарушение, и дело даже не в штрафе (который, однако же, неминуем – вычтут из социального минимума социальный минимум), а в дальнейших последствиях, которые осложнят семье жизнь до цирроза печени. И этот фольксдойч все отлично понимал: то, что он позвонил аккуратно вечером накануне нашего отлета (число он помнил, сам же делал билеты) – как раз и давало это понять. У тебя ровно час и никаких завтра. Или ты делаешь один ход – или другой, и тогда я делаю встречный.

Да я бы и сам снялся с собеса при первой возможности. Он снится мне по ночам. В кошмарных снах, в которых мне снятся еще более кошмарные сны моей жены. Нет унижительней, чем когда тебе дают деньги и дышат тебе в затылок – ну, наконец, ты снимешься? Ты пойдешь на рихтиге арбайт? Да! Лишь бы от вас, ребята, отвязаться. Но куда? На коробки? Не пойду на упаковку! Это отчуждение человека от человечности! Человека, которого кто-то должен полюбить так верно, что он успокоится и умрет по-человечески.

(Первую половину жизни думал – почему я, такой живой, должен умереть? Это же невозможно! Теперь, во второй, думаю – почему я, такой отживший, не умираю? Так жить долго – это же невозможно).

Вот, в общих чертах, что нужно знать о пьядца ди Сан-Марко. А теперь, когда мы прошли пешком пол-Венеции, когда мы посмотрели Фрари и Скуолла ди Сан-Рокко, и Сан-Поло, и Сан-Дзанниполо, и Санта Мария Мираколи, и Сан-Дзаккариа, и мост Риальто, – теперь, дорогие мои, стоя здесь, в сердце Ла Серениссима, между Золотой Базиликой имени святого евангелиста Марка и 100-метровой ее Кампаниллой, между Библиотекой Сансовино и Палаццо Дукале, откуда осужденных по подвесному Понте деи Соспири вели в страшный Карчери, перед тем, как прокатиться в завершение как раз до автобуса по всему каналу Гранде, по всей его букве S в 4 версты, со всеми дворцами, отражающимися в кривом зелено-водном зеркале Большого канала, у вас два часа свободного времени. Налево пойдете, под часовую башню – выйдете на главную торговую улочку Мерчерие; направо пойдете – выйдете на Моло и набережную дельи Скьявоне, то есть на нашу, Славянскую набережную, друзья мои, давали мы им когда-то прикурить, вот, помню... но это ладно; а прямо сквозь Пьяццу пойдете, сквозь алу Наполеона, да, он ее строил, чтобы завершить этот «самый большой салон Европы», как он называл эту площадь, куда и мы с вами приглашены или пригласили себя сами – какая разница... – и можете выйти к оперному театру Ла Фениче, а за ним, если поискать – двор, а во дворе – дом Контарини дель Баволо. С лестницей, значит. А лестница та – снаружи дома и вся витая. Как будто край дома из белой бумаги и завивается в бумажный свиток. Там в прошлый раз одна потрясающая старуха мусор выбрасывала, представляете, выходит в абсолютно норковой шубе и выносит ведро с мусором, видит – контейнер переполнен, и плюх в кучу, не как у нас в Германии, а как у нас в России, так вот такого второго облезлого двора и второго такого смурного здания – поискать. Словом, куда хотите – туда и идите. Встречаемся в 14.45 за углом в садике на набережной, где я показал. Где туалет за 1000 лир, за марку, да. А вы хотите за 30 пфеннигов? Как в Германии? Это вам не Германия. Это даже не Италия, это Венеция, а за Венецию надо платить. Только я вас умоляю, не садитесь на площади прямо вон здесь за столик. Я понимаю, вы и так не сядете, но если вдруг кто-то захочет шикануть, имейте в виду – это самое дорогое в мире кафе «Флориан», оно здесь с 18 века, чашечка кофе стоит здесь 14 марок, а чай по-флориановски и все 15. Ну насыют чего-нибудь. Найдут чего. Травинку какую-нибудь. Дольку чего-нибудь. Сиропчику какого-нибудь подольют. И чашка старинная. Такую икебану наведут – мало не покажется. Из ресторанов рекомендую Макдоналдс. Я знаю один, рядом с Риальто. Отсюда? Проще пареной репы. Входите вон туда, под арку часовой башни, идете по змее Мерчерие и выходите по стрелке прямо к Риальто. Минут 12. Нет, если хотите – пожалуйста. Желаящим потрясти мощной рекомендую еще одно известное по части раздевания клиента при помощи денег место, метрах в 150, прямо за углом, у стыка с набережной. «Харри-бар». Его любил Хемингуэй. Он любил коктейли. Ему все было не дороже денег. Ему лишь бы человек был хороший. То есть хорошо готовил коктейли. И там их приготавливают не хуже людей. Мартини как мартини. Можете удостоверить. Я уже.

Не без причины. Как раз тогда меня взяли в один привокзальный мюнхенский отель ночным портье и уволили из ночных портье – все за одну ночь. Что интересно – я вышел на него официально. По компьютерному предложению в отделе информации нашего арбайтсамта. Человек приглашался на базис, на 630 марок, но с того года базис законом приравнивали к самой низкооплачиваемой, но работе. Собес терпеть этого не мог, люди устраивались на 630 марок, а в иные месяцы получали и того меньше и декларировали какие-нибудь 410, из которых социаламт имеет право вычитать не больше половины, а остальное поощрительно оставлять

человеку сверху соцминимума, до которого добивать должен был тот же собес. То есть человек устраивался на работу, но сидел на 70-80% на шее социала, а ему еще доставалось сверху марок 200-300. А работа за 500-600 марок в месяц какая может быть? Это как кому повезет. Я знал людей, которые за полные 630 прогуливали болонку у старых фрау, и знал людей, которые за 450 мыли вредными химическими составами огромные офсетные машины в типографии. Но и в том, и в другом случае занятость на 630-марковой работе не должна была превышать по закону 15 часов в неделю. Значит, по закону я должен был отработать две ночи в неделю по 7.5 часов. Однако старый польский еврей – содержатель отеля – захотел от меня 11 часов – с 8 вечера до 7 утра. Как же, ведь он должен был оплачивать еще мой проезд до Мюнхена и назад, это еще пара сотен. Но главное, он быстро просек, что мне деваться некуда, достаточно было услышать, как я говорю по-немецки, чтобы понять – приличное место таким не светит. И он начал мне вкручивать, что все мы, люди с востока, должны держаться друг друга, что тут нам никто не поможет, нас никто не поймет, все думают, что мы шушера, а он сразу разглядел во мне приличного человека, и лучше, чем у него, мне нигде не будет, вот я у него подучусь и овладею немецким в рамках сервиса, и со временем, если он увидит мою работу, он мне еще подкинет, а там я огляжусь, и сам решу, куда... И тыры-пыры, я видел его насквозь, но мне и правда с моим немецким не светило ничего, кроме коробок в индустрии гебит или плат на Сименсе, у меня почему-то не идет немецкий, слова набираются, как в мешок, я прилично читаю, но как говорить или понимать, что о н и говорят – я пас; и я согласился, я был рад и тому, вся семья радовалась – папа устроился на работу, папа будет почти как нормальный немец, можно сказать в школе – мой папа портье, не уточняя: ночной, на базисе. Главное – он работает. И вот старый еврейский поляк мне сам звонит из Мюнхена и: «Выходите сегодня, – говорит, – с сегодняшнего вечера я Вас беру, а завтра с утра я приду в отель и подписываем контракт». Я приоделся для первого вечера, для первой брачной ночи – и приехал. Как раз еще тогда начались дела в Израиле, под дождем на пути между вокзалом и отелем встретилась мне колонна арабов в клетчатых масках, человек 150 с лозунгами: «Евреи, прекратите убивать наших детей!», вообще баварцы – народ словоохотливый, в хорошую погоду к ним, наверное, подошел бы кто-нибудь, посочувствовал их нелегкой судьбе или, наоборот, поинтересовался бы – а как они сами по части еврейских детей? Считают ли, что пуля – убивает, а взрывчатка просто поднимает на воздух и мягко опускает, баюкая? Но шел дождь, осенний унылый дождь, и небольшая кучка наблюдателей вела себя крайне индифферентно. Ну а я и подавно. Я вошел во двор отеля, поднялся на первый немецкий этаж. Дневной портье должен был сдать мне кассу и показать пару приемов обращения с документацией, автоматами с напитками – и до свиданья. Но он остался посмотреть футбол. В этот день у них рублились «Бавария» и «Боруссия Дортмунд», а такие матчи не пропускают. Все постояльцы гостиницы, находившиеся в ней, сошли с двух этажей в «салон» рядом с моей конторкой – и тут я понял, куда попал. Это не был специальный клоповник-бордель, это было хуже: с тем хотя бы все ясно, его лицо определено, и манера обращения с любым гостем, единожды выработанная, не нуждается в лабильности. Тут же кого только не было: немцев-шоферов с севера, пары скинхедов из бывшей ГДР, гастарбайтеров румынского и боснийского типа. Одна молодая и на вид приличная женщина привела к себе африканца, на вечерок, в номер на четырех женщин, из которых трое отлучились и могли вернуться в любую минуту; так что она спешила им насладиться, не знаю почему, но было совершенно ясно, что она не работает за деньги, а пригласила просто предаться любви, ведь, говорят, африканцы в этом деле лучше всех, совмещают поступательно-возвратное движение с вращательным, было видно, что он ей желанен, но он выскочил из номера, чтобы посмотреть матч, она тянула его назад, а он по-

негритянски ласково отбивался, еще бы, такой футбол бывает не каждый день, а баб сколько хочешь. Я сидел с умным видом, в клетчатом дорогом пиджаке и очках и читал 2-й том «Истории итальянского искусства» Джулио Карло Аргана, через пару дней предстояла поездка в Верону и Венецию, и мне пришла идея за небольшие деньги уговорить шофера заехать по дороге в Виченцу и сделать по ней блицрундфарт, автопробег по достопримечательностям минут на 20-30, это был бы подарок не публике, а мне, но потом публика бы поняла, что и ей тоже, и была бы только благодарна. Некоторые вещи надо сначала увидеть. Аппетит приходит во время еды. И вот я читал о городе, сплошь и вокруг застроенном Андреа Палладио, сидя в месте, более всего походившем на гостиницу города Печоры в далекие советские времена (какая длинная жизнь у Летучих Голландцев, ползучих гадов, проклятых всеми, кого и не знаешь, всегда неизвестно за что, всегда за дело), с дощатым полом, покосившимися дверями, не было только тараканов, зато удобства были в коридоре, одни на весь этаж, а в славных Печорах Псковской области, по крайней мере, в каждом номере была ванна, хотя бы и с отключенной горячей водой, но холодная-то была, и туалет был свой, и все за рубль тридцать в сутки, как сейчас помню; я читал одним глазом, а вторым наблюдал за порядком. Мне было сказано – если кто будет нарушать, мешать остальным спать ночью громким разговором, надо только авторитетно сказать: «Прошу о понимании и соблюдении порядка», – и это должно помочь на 90%, но если и это не поможет, надо чуть повысив голос, но столь же авторитетно сказать: «Па-прашу не нарушать, иначе...», – и приподнять бровь в направлении телефона. На самом деле полицию следует вызывать только в самых крайних случаях (хозяину этого безупречного заведения она тоже была нужна, как палка в колесе), а таких не будет. Одна только бровь их сразу остановит, до такой степени здесь каждый знает – с баварской полицией шутки плохи, даже когда твои документы в относительном порядке, а у многих здесь особого порядка в документах не водилось. Но пока что никто спать не собирался, чтобы ему помешать, все смотрели футбол, святое дело, кто-нибудь быстро выбегал, я открывал ему дверцу холодильника, он брал бутылку холодного пива или мерзавчик шнапса и убегал к футболу, а я кассировал мелочь и продолжал читать Аргана, чувствуя – дела пока идут неплохо, мое знание немецкого достаточно, вот только пиджак мой как-то не гармонирует с цветом обоев, они на него как-то странно смотрят, это надо учесть, надо быть проще... вот я взял еще глупую привычку – отпустив бородку клинышком, пробривать щеки от щетины, ненужное щегольство. С другой стороны, мои домочадцы правы – со своей бывшей бородой лопатой я был в Баварии похож, не как в Москве, на типичного русского интеллигента, а на турка из лавки или перса; надо бы ее вообще сбрить, но все ж таки – как без бороды? если носишь ее 25 лет? Да, надо, по крайней мере, оставлять народную щетину на щеках. К чему этот глупый выпендрей? Среди славных простых парней всей земли. И тут раздается звонок, это хозяин, старый еврейский поляк Мацек Ицик, и просит он моего сменщика (как будто знал, что тот еще не ушел) и что-то говорит ему минуты три, и тот растерянно кладет трубку и говорит мне, что хозяин не хочет меня у себя. То есть увольняет с места работы, только взяв, не успев даже проверить! Такие номера бывают только со мной. Ни о чем подобном в Германии я и не слышал. Как, прямо сейчас? Да, прямо сейчас. Но ведь он же сам меня вызвал. Трех часов не прошло! Молчит. То есть мне одеваться и уходить? Выходит, так. Молчит. Прячет глаза. Хороший парень. Хозяин подлец, подставляет его отдуваться. Он ведь понимает, что с людьми так не. Но, в общем-то, ему все по. Никто из нас никому не нужен. Только Ему, а нам – нет. Никто. И я нас всех понимаю – кому нужны такие, как мы? Я Его не понимаю. А деньги? Вот, он сказал – сорок марок. Но это цена моего проезда! Вот он его и оплачивает. А кто мне оплатит рабочий вечер? Если человека нанимают и вызывают из другого города на работу такого со столько-то до столько-то, то

есть вторгаются в его планы, этот трудодень, по крайней мере, должен быть оплачен. Настолько я законы знаю. Настолько объясниться могу, при помощи пальцев. Он со вздохом вынул еще десять марок и сказал – это все. Это его последнее слово. Могу дать Вам его телефон – объяснитесь с ним сами. Я только махнул рукой – все мы понимали, как я объяснюсь со старым тертым хреном по телефону без помощи пальцев, когда мы только на следующее утро, по приходу его, должны были подписать договор. Ни о чем подобном не слышал ни до, ни после. Такие вещи бывают только со мной. У меня на лбу написано что-то, чего сам не вижу, но они видят, и это им не подходит? Допустим. Но зачем тогда брать, предлагать, вызывать? Не понимаю. Ничего не понимаю.

Ну как не дернуть через два дня после этого в Венеции мартини в «Харри – баре»? Я лично могу наделать таких коктейлей из одной бутылки джина «Бифитер» и одной вермута «Мартини-драй», ну добавим еще оливок – все едино, за цену одной порции в баре... много-много я могу наделать этого драй-мартини за эту цену; приходи, любой Хемингуэй, приводи и Скотта, и Фицджеральда, угощу – не отличите. Разве что по льду. Лед в домашнем холодильнике средней руки всегда хуже. Лед в коктейле – дело не последнее. Ненавижу подтаивающий лед, разбавляющий коктейль на ходу, писал Бунюэль уже на склоне лет; вероятно, это было важнейшее негативное впечатление его жизни после генерала Франсиско Франко. И он прав. Вот за не тающий барный лед, за розу в кабинках роллс-ройса, и платишь. За то, что одно дело – дома, а другое – в «Гарри-баре». Дома не завьешь горе веревочкой. А веревочка в дороге пригодится. Дорога Летучего Голландца. Меня ждут в Париже, а тем временем какая-то девушка, забыл-как-ее, должна меня полюбить, да еще и хранить мне верность, чтобы спасти и простить от имени всех, кто меня проклял и кого не знаю, но силу их проклятия чувствую ежеминутно; хранить верность, подумать только; кому, мне? Это уже слишком, меня ждут в Париже, но автобус не набирается, поездка разваливается – и я появляюсь в Вене, где меня не ждали, но вдруг у кого-то собрался автобус и порекомендовали меня.

Мы проезжаем возле охотничьего замка Майерлинг. Именно здесь произошла одна из самых волнующих любовных трагедий 19 века: 30 января 1889 года наследник престола Габсбургов кронпринц Рудольф, 31 года от роду, единственный сын императора Франца-Иосифа и императрицы Элизабет, незабвенной Сисси, да, той самой, высокая, волосы до пола, а талия уже, чем у Гурченко, что-то 40 с чем-то, да, первая ввела гимнастические снаряды для женщин, можно сказать, изобрела женский фитнес, качалась неустанно, ее еще потом заколол в Женеве в 1898 один итальянский анархист 25 лет, Луиджи не помню как его, у него руки чесались любого тирана заколоть цареубийственным кинжалом, он вообще-то собирался поохотиться на принца Анри Орлеанского, французского тронпретендента, но тот не приехал, хотя и планировал, а больше всего Луиджи мечтал заколоть итальянского короля Умберто, но не было денег на дорогу в Италию, и тут ему подвернулась императрица Австро-Венгерская, всем тиранам тиранша, он убил бедную женщину в черном, она так и не снимала траур после смерти сына и перемещалась через всю Европу, как я, в жуткой тревоге, без охраны, только со своей хофдамой графиней Ирмой Штарай, и он ее заколол, 61 года от роду, но она умерла почти без боли, удивительный случай, она даже не поняла, что ее ранение смертельно, и прошла быстрым шагом еще сто метров, врачи объясняют это тем, что рана была очень маленькая, кровь затекала в околосердечную сумку медленно-медленно и очень тихо остановила сердцебиение, невероятно, но факт, а Луиджи, хоть он спал и видел, как бы героем взойти на эшафот, дали пожизненное, и он удавился в камере на ремне спустя 11 лет, – так вот, в Майерлинге наследный принц Рудольф Габсбург застрелился вместе со своей возлюбленной, 18-летней баронессой Марией Вечера. Их нашли

в замке, ее с распущенными волосами и розой в сложенных руках, его в полусидячей позе, револьвер на полу, вывалился из повисшей, застывшей навсегда руки. В бокале рядом с другой рукой – чистый коньяк, никакого яду. У каждого прошла сквозь один висок и вышла через второй. Причины не выяснены. Версий много – среди них не самые лестные для репутации великого королевского семейства Габсбургов, как то – наследственная душевная болезнь, беременность Марии, в то время как принц был женат замым законным образом на принцессе Стефании Бельгийской, и даже его возможный сифилис, которым он и ее заразил, и даже такая версия, что Мария Вечера оказалась внебрачной единокровной сестрой своего любовника, то есть, получается, дочерью императора Франца-Иосифа... Но я вам точно говорю, уж я-то знаю, это все досужие вымыслы. Из доподлинно же известных вещей, относящихся к этому событию, одно меня лично впечатляет, без комментариев, а второе заставляет удивляться непостижимости человеческого устройства. Первое – это слова матери самоубийцы, императрицы Элизабет, Сисси, когда она узнала: «Великий Иегова страшен, когда Он приходит разрушительный, как буря». И потом, позже, я точно не помню, но по смыслу: удел матерей – страдая, рожать детей для того, чтобы те, страдая, обрекали их на еще большие страдания. Второе – это меню обеда, который заказал принц Рудольф буквально за несколько дней до самоубийства, в конце января 1889 года в ресторане знаменитого венского отеля «Захер». Оно до сих пор висит в холле. Памятник эпохи. Один из главных аттракционов отеля. Я запомнил его наизусть. Приведу дословно. Устрицы, черепаховый суп, омар а l Armoricaine, голубая форель под венецианским соусом, жареные перепелки, петух в вине a la francaise, салат, компот, пюре из каштанов, мороженое, торт «Захер», сыры и фрукты. К этому подавалось: шабли, бордо Мутон-Ротшильд, шампанское Рёдерер и херес суперриор. Нет, не знаю, что значит Armoricaine. Но знаю, что сказано об этом в одной солидной книге о Вене: «Обед, воплощающий совершенство – и одновременно образец, на который должен равняться каждый». Должен, понимаете? Каждый. Каждый должен быть чему-то верен. Например, стилю обеда и самоубийства. Вот тут за углом жил Фрейд, это тут он и вывел, что рядом с инстинктом жизни и продолжения рода всегда стоит влечение к смерти. Где Эрос – тут тебе придет и Танатос. Полный танатос. Такой город. Отмечено, тут все как-то особенно любят пожить и все как-то особенно влекутся к смерти. Один так и писал: «Венец имеет особенно тесную связь со смертью». Конец – делу венец. Или венец. И вправду. Возьмем Венскую оперу. Пойдем, пойдем сегодня же вечером. Еще ведь не вечер. Читайте, что на шару. 7 марок. Венская опера за 7 марок. Только сегодня и только для вас, дамы и господа. Правда, на галерку, правда, и на галерке не в первом ряду, правда, вы ничего не увидите, но услышать услышите, а главное – походите по театру и увидите всю эту роскошь изнутри, чтобы было что вспомнить и рассказать. И все в 7 марок. Поют? Ну Пласидо, скажем, Доминго поет сегодня, устраивает? Мне-то все едино, что Пласидо, что Доминго, оба по барабану, я не меломан оперы, мне Рихард Вагнер подсуropил, это ведь он меня отправил в призраки, из-за него я разлюбил оперу раз навсегда. Но суть не в этом. Это здание строилось 8 лет двумя придворными архитекторами, Эдуардом ван дер Нюлем и Августом фон Сиккардсбургом, и открылось 25 мая 1869 года. Правильно, «Доном Джованни» Моцарта. Видите, вы все лучше меня знаете, и это прекрасно. Лучше русского туриста – только русские туристки. Но вот в чем заковыка. На открытии не было ни одного из двоих главных виновников торжества. А знаете, почему? Потому что незадолго до окончания строительства император Франц Иосиф позволил себе выразить некоторое недовольство пропорциями фасада. Очень мягко и в немногих словах. Сами видите, фасад заслуживает куда более жесткой критики. Здание некомпактно, громоздко, навершие давит на второй ярус, высокий второй ярус давит низкий первый, правда ведь? Его Величество

был очень деликатен. И здание все равно приняли, и оно вписалось. Оно было обречено вписаться, каким бы ни было. Все было предрешено. Венская опера – другой не будет. И что же? Уязвленный Ван дер Нюль повесился, не в силах пережить позора, а Сиккардсбург умер через два месяца от того же. Удар. Вот так. Вот вам Вена, друзья мои. Веселейший город. Юдоль скорби. Жуткое дело.

Мне сотни лет. Я слегка износился в странствиях. Вряд ли я долго смогу еще возить группы, двое суток не спать. Но если и смогу, это не перспектива. Это способ подзаработать на поездку в Италию или в Москву, призрачно погостить у себя дома, – где я только не дома? Даже дома, – на троих три самолетных билета. Шварцарбайт. Ни пенсионного фонда, ничего. Эти гроши... Завтра останемся и без них. Все, кто приехал, отъезжают, а Германия не может так жить еще 20 лет. У нее нет больше денег на то, чтобы на деле декларировать гуманность. Тут нельзя декларировать и не отчислять. А отчислять ей нечего. Америка отказалась, а Европа куда денется с подводной лодки? Она распрощается с социальными завоеваниями, это будьте благонадежны. Грустно, а что делать. И меня загонят на коробки. Они не оставят в покое. И он несчастен от всего этого. Он уже немец. Он видит, как в немецких семьях без надрыва и с улыбкой, и от детей ничего не требуют, а только ребят. Он не имеет возможности скрыть от учителя, что его отец сидит на социалхильфе, когда весь класс должен ехать на 4 дня в школьный горнолыжный лагерь в Австрии, и каждый должен выложить 300 марок и дать еще карманных 100, 400 марок за 4 бестолковых дня! Ведь никто из них не умеет кататься на горных лыжах, да мало кто и пытается. Они просто сидят в горах по уши в снегу и спят вшестером в комнате в неотопляемом помещении, и едят всякую дрянь, зачем это нужно? Но это нужно, это школьный пфлихт, повинность, «чтобы класс «срастался», и мы не имеем права отказаться, но я имею право, раз это «пфлихт», а не прихоть, обратиться в социаламт, и он оплатит 300 марок из 400, остальные я дам, куда деваться, но он переведет эти 300 не на мой счет, а на счет классного руководителя, реквизиты которого я должен указать (чтобы не дать мне предполагаемого шанса смошенничать), и по самому переводу будет видно, откуда он, и это стыдно, а выкидывать 300 марок на такую туфту просто невозможно, я и так даю ему 100 из своего кармана, и так по разным поводам, по мелочам, которых набирается за долгое время на большое, сгорбляющее спину унижение и учтливое оскорбление, а он вырастает, и все яснее все видит, он видит уже яснее меня, потому что смотрит и х глазами и все больше стесняется, и все больше ненавидит нашу и свою униженность. Но нас самих он еще пока любит. Он хороший и стесняется нас тихо. Он приглашает друзей и тихо запирается. Чтобы мы не говорили при них по-немецки. Дело ведь не в том, что мы говорим по-русски. А в том, что не говорим по-немецки. Мы среди немцев – немые, нем-цы, а не земцы. Я падаю каждый раз после поездки бревном и встаю такой, как если бы меня долго били ногами тяжелые люди, а зачем? Мир посмотреть?

Я посмотрел.

В свете – нет такого чуда. Что я тут делаю, я, возлюбленное создание Божие? Солон чужой хлеб и трудны ступени лестницы в чужом доме. Но не вернусь, один раз сломав его для его же блага, не повезу его ломать вторично – назад. Он туда не хочет. И правильно делает. Что русскому здорово – то немцу смерть. А он уже немец. Кому дом родной – а кому армия. У меня нет 5 штук баксов, 11000 марок, чтобы его отмазать. Я не ставил себе целью отложить денег – и не отложил их. А если бы поставил такую цель – не осуществил бы ее. Я не повезу его хоронить или в психушку, когда он уже свободный человек. Он останется свободным человеком, безопасно с поднятой головой переходящим улицу на зеленый свет и видящим вокруг примеры, что мир состоит из учтливых людей и держится толковой работой, а не крутежом и кутежом. Я пойду клеить коробки, но не отдам его им в армию. Если бы они хоть хотели его смерти. Но они ничьей смерти не хотят. Они

бы и хотели, да не. Они бы и не хотели, да хо. Они просто никогда так не жили, чтобы у них за них другие за кого-то я не знаю за кого и что и почему и зачем и они не знают, но они никогда так не жили, чтобы они жили, а их граждане в это бы время тем временем пачками бы не умирали. Не имеют прецедента – вот и не знают как. А зачем им лишние прецеденты? Типа – люди в армии не умирают. Это что-то новое, а зачем им новое? Новое – это хорошо забытое старое, а они никогда ничего не забывали, потому что никогда ничего и не помнили. Им все по. И поэтому я не отдам его им с их большими ху или хе, или хе-хе, по которые он им.

Кофе по-венски? Вижу, вы тоже прожигатель жизни. Должен сказать, никакого кофе по-венски нет, или, что то же, все кофе в Вене – по-венски, нигде нет стольких видов всякого кофе, первые в Европе кафе появились в Вене в 1693 году, сразу после того, как великий воитель принц Евгений Савойский разбил турок под стенами Вены, и содержали их, мне говорили знающие люди, турецкие армяне, пришедшие сюда с османами, но назад с ними не пошедшие, а осевшие в столичном христианском городе. Они научили венцев кофе по-турецки, а те уже творчески развили уроки, и вот теперь мы имеем десяток видов из десятков нежнейшим образом отобранных, особо обработанных и тонко смешанных сортов кофе, а то, что называют кофе по-венски, здесь именуют «Винер Меланж», оно полностью варится на сливках или молоке и еще заправляется взбитыми сливками, очень рекомендую, лучше капуччино-то будет, уж поверьте, правда, и стоит 5 марок чашка, но это - чашка, а не итальянская чашечка. А брать к нему надо не торт «Захер», он знаменит-то знаменит, но не понимаю, чем? Ну два коржа, промазаны абрикосовым мармеладом вместо крема и облиты шоколадной глазурью. Суховат. Родная «Прага»-то повкуснее будет, это дважды два, а у них брать надо этот... как его... мне сведущие люди говорили, ну сейчас отойдем от Штеффи и пойдем на Грабен, и вот там кафе. Справа от чумной колонны, не чумовой, а чумной, не надо шутить, по обету во спасение от страшной чумы 1679 года. Попробуйте представить, на ваших глазах умирает 30, 40, 60 000 человек, каждый четвертый или третий в городе, один за другим, и вы ничего не можете сделать, ваши знакомые и друзья, родные мрут как мухи, их хоронят на ваших глазах в чумном рву, в канаве, то есть Грабене, засыпают, и вы догадываетесь, кто стоит на очереди в списке, а сделать ничего не можете, как во сне, разве что нарезать в зюзьку, как один тогда спяну упал прямо в ров, очнулся, а он жив, представляете? посреди заразных трупов; а как звали его Августин, то он о себе от радостного обалдения сочинил песенку «Ах, мой милый Августин», ну да, эту самую, и распевал ее в греческом кабаке, недалеко отсюда, да, сохранился, ну, конечно, байки, ну пошли на Грабен, любимое место гуляний венцев по мертвым костям, я покажу это кафе, и там этот торт, самый вкусный у них, если уж это любить и платить за это деньги. 70 шиллингов, 10 марок за кусок торта, но это торт. Да, когда-то и я был сладкоежкой, а теперь все у меня в глотке застряло. Вот оно у меня где, все это сладкое, вообще все съестное; наелся до конца своих дней и того, что съел, и того, что не съел. Да, не хочу и фуа гра, и омара а l Armorigaine. Представьте себе. Каждому отпущен свой лимит. Я свое уже съел. Не скажу, что выпил. Самый скучный из всех смертных грехов, заявляю с полной ответственностью, это чревоугодие. Чего не скажешь о пьянстве. Нет, вы не поняли. Не говорю, что – веселый. Но хоть осмысленный: всегда потом испытываешь чувство вины и тоски, ис-питы-ваешь, понимаете, are you experienced? А то наелся и знай себе отдуваешься, все равно от чего – от перепелок ли с пюре из каштанов, столовских ли серых котлет с серыми перьями макарон; одинаково в сон клонит.

Я вспомнил, как ее должны звать. Из-за которой буду прощен. Это Вагнер написал про меня. Думал, про себя, а написал про меня. Он всегда был эгоистичен – и мне ли его не понять. Ее зовут Сента. Я выручил ее отца. И она полюбила

меня. Но у нее – кто-то есть. Или только хочет кем-то в ее жизни быть. Типа набивается в женихи. И вот она должна отказать ему, потому что полюбила меня. Чтобы спасти меня. Но чужая любовь еще никого не спасла. Правда, от чужой любви можно прикурить свою. Это бывает, правда. Но своей любви не напасешься. Да ведь и *своя* не спасает. Стоит ли «я» и «моя любовь» в 1-м лице или в 3-м – какая разница. Я никак не больше *его* или *ее*. Чья любовь не спасает... Как, и по дворцу Дожей нельзя водить? Как дворец, так нельзя водить? Почему, синьора, если это мой дворец? Доказать? Хотите, синьора, я проведу вас по нему с закрытыми глазами? Ладно, замнем для ясности. Не надо, не надо карабинеров. Какие могут быть карабиньери в этом городе карнавалов, где всем правит Sior Maschera, Господин Маска? Нас нет, и мы докажем вам это – растворившись в воздухе. Нас сейчас не станет, хотя мы заплатили за вход 18000 лир. Это деньги, между прочим. Для тех, кого я привел с собой, это деньги, потому-то они, мы, и призраки в Венеции. Спокойно, синьора. И Вы, дорогие дамы и господа, спокойно. Мы спокойно, без скандала, уйдем сейчас из зала Большого Совета и спокойно вернемся по другой лестнице, выше этажом, в зал Коллегии и Антиколлегии. Мне ли не знать, где она, когда сам же ее и строил, не один, конечно, и другие плечо подставляли. Да, я; ну а кто? Не вы же, правильно? Там тоже дивный Веронезе, «Похищение Европы», и еще более дивный Тинторетто. А главное, другая синьора. С ней нам повезет больше. Настоящая итальянка. Она будет вязать или смотреть в окошко на Бачино. Настоящие итальянцы на работе занимаются чем угодно, только не своим делом. Это лучший способ ведения своих дел. Русские уйдут, но русские придут. Американцы не пройдут. Японцы не пройдут. А мы пасаран. Нет такого места, где бы мы не пасаран. Только не надо спорить. Споры ведут к карабиньери. Синьора, чао.

Не отдам его им. Сойду с ума на клейке коробок, сдохну на упаковке почты – не повезу назад. Я взялся за плуг не для того, чтобы оборачиваться назад. Прощай, моя немытая. Я тебя и такой люблю. Большое видится на расстояньи. Зачем уменьшать твой масштаб в пространстве моей души?

А вы, святые камни Европы... где вы, что вы? Почему, топча вас, не озаряюсь я вашей святостью? Почему чем дальше, тем больше я ничего не чувствую, бревно бревном? Ни на закатной Аппиевой дороге, прощаясь с римской славой, ни проезжая мимо Реймса, где когда-то короновали королей Франции и до сих пор стоит лучший в мире готический собор? И теперь еще оставшегося столицей – хотя бы шампанских вин. Ни даже в горах Каталонии в святыне Испании, стоя перед черной деревянной Мадонной монастыря Монсеррат, перед которой коленопреклоненный Игнатий Лойола дал обет создать орден имени Иисуса – и свято сдержал слово? Не наговаривай на себя: там ты еще что-то... или уже что-то...

Нет, он спутал, какая уж тут Сента. Разве какая-то Сента в состоянии спасти меня? Зачем понапрасну отбирать у девушки хорошего жениха?

Почему чувствую себя в своей тарелке – лишь в обществе амстердамских анашистов, четырнадцати французских моряков, которым я такой же свой, да не свой, как доценту филфака пензенского пединститута?

Линдау, Ландау, Пассау моя.

Я хату покинул, пошел воевать – чтоб домик в Мурнау Кандинскому дать?

Иль – просто со вкусом всегда поддавать?

Я, незримый, пил лучшие вина Европы – настоящие, а не трехмарковые Риохи и Кьянти, и Брунелло ди Монтальчино, и вино нобиле ди Монтепульчано, и Шато-Марго, и Шато неф дю Пап, и Кло де Без, и Поммар, не говоря о лучших рейнских и франконских – на вайнмарктах, где можно дегустировать бесплатно все, что душе угодно. Сорокапятимарковые вина. Я знаю лучшие года урожая французских вин за последние десять лет. Видел лучшую европейскую живопись и славнейшие дворцы. Был в городах, где начинались и заканчивались великие европейские

войны. Присутствовал при разговоре Казановы с Вольтером, когда последний, имея в виду арест, тюрьму и побег первого, заметил, что «в Венеции никто не может назвать себя свободным», а первый ответил: «Возможно, но согласитесь, что для того, чтобы быть свободным, достаточно считать себя свободным», при начале великого европейского спора о свободе, когда обе стороны, итальянская и французская, так и не поняли друга, и тут как тут в Европу влезла еще Россия с ее заветным «третьим путем», третьей, «тайной свободой», с двухсотлетней говорильней о смысле двух чисто поэтических слов, чтобы окончательно запутать дело. На моих глазах болгары двигались в ататюркскую Турцию, которую должны были ненавидеть и бояться с османских времен, но почему-то в послесоветские времена перестали и бояться, и ненавидеть, а кемалевские турки в послевоенную Германию, куда двинули и русские греки, как только получили греческий паспорт, дающий право на жизнь и работу в любой стране Евросоюза; на моих глазах в Германию прибывали боснийцы, а затем на моих же глазах, с окончанием войны, их сажали в комфортабельные, по сравнению со столыпинскими, вагоны и вместе со всем их скарбом, с новой немецкой аппаратурой депортировали назад в Боснию, а потом на моих же глазах соседний с нашим дом заселили албанцами, бежавшими от косовских сербов, а потом через два квартала от нас появились косовские сербы, бежавшие от албанцев... В монастыре святого Михаэля на горе в великом древнем городе Бамберге, «франконском Риме» на семи холмах, пил я единственное в мире Rauchbier, копченое пиво «Шленкерла», темное пиво вкуса растворимой салями.

Дрянь это копченое пиво. Говорю, дрянь.

Из ресторанов рекомендую «Макдоналдс».

Европа. Где ты, Мисюсь?

Ради тебя, о Европа, сплотил я воедино людей из Харькова и Днепропетровска, Саратова и Москвы, сидящих на социальной помощи, потому что кто же из работающих в Германии в силах ездить бессонными ночами в выходные, ради любви к тебе увлек их твоими камнями, дворцами и соборами, музеями и колизеями, твоей – своей – историей, историей славы и позора, высот и падений иудео-христианской части человечества. Тебе они готовы стали отдать свои последние гроши, отложенные из месячных соцминимумов. Я веду их, я – их группенфюрер. И вот – где же ты? Чем больше дышу я воздухом твоей культуры, тем больше чувствую – нечем дышать. Чем больше был когда-то накал желания, затянувшегося предвкушения встречи с очередным дивом человеческого гения, – тем холоднее сама эта встреча. Ни Ватикан, ни Лувр, ни мозаики Равенны не отогревают мою старую, застуженную в странствиях кровь, мою седую душу. За чем же гоняюсь я?

За усталостью. От усталости, от полной выкладки души и тела я выпадаю в «вечность» как в осадок времени, как в сгусток настоящего, полного собой до краев, где нет места для какой бы то ни было тоски по прошлому и страха перед будущим.

И только? И никогда больше не упьюсь гармонией? Не обольюсь слезами над великим вымыслом европейства?

Нет. Не обольюсь.

Вот за этим-то «нет» – и гоняюсь: насытить себя чувством пустоты от полюбовничества с культурой, от бесцельности свиданий с ней, отсутствия, да и ненужности душевных оргазмов. Чтобы понять всем естеством однажды, когда, наконец, это произойдет, когда насыщусь ею, моей опостылевшей возлюбленной, до передания, до полного несварения души: не она, не она должна меня полюбить, и в любви не к ней найду спасение. Как эта секта гностиков, не упомяну уж и названия, давно это было, но помню, она, в противовес другой гностической секте, практикующей полное половое воздержание, практиковала групповой секс и все, что только можно здесь представить, чтобы обратным путем – через пережор и

блеводу, через полное и окончательное пресыщение свальным грехом, отвращение к сексуальной пище – прийти к тому же самому: к отказу. Довести себя до безразличия к плоти – и выйти в чистый пневматизм. Оскопление обжорством. Обьестья разочарования Европой. Тоже путь.

Куда? Зачем? Знаю: разлюбив Европу – больше никого не полюблю. Я моногамен. Старый Свет – моя единственная любовь. Мне не нужны ни Америка, ни Восток, ни Тасмания и страшные Соломоновы острова. Я лечу, брожу, блуждаю в автобусах по Европе сотни лет и не хочу ничего, никого другого. Знает она или нет, она моя суженая. Если разлюблю ее – взамен не полюблю никого. Это сердце – опустеет.

Мерло, мерло по всей земле – до беспредела. Свеча горела на столе – и та сгорела.

Но не отдам его которым все по ху или хе. Я не вернусь назад. И я не пойду на упаковку. Я призрак и уйду в пустоту, и там найду свое призрачное счастье, там ждут меня еще полмира, не завоеванные мною, незримой моей армией города. Есть еще Севилья и Вальядолид, Грасс и Руан, Лиссабон и Рейкьявик. Так и умру по дороге в автобусе, где-нибудь между Пизой и Инсбруком, проезжая мимо очередной деревушки со всеми удобствами – тут и похороните, прямо у автобана. Заройте, и все. У обочины дороги выройте могилу. И думать не надо, чем за нее платить. Заройте – и мимо.

Вперед, на озерную Мантую. Мы возьмем ее, как только я при помощи карты и циркуля составлю план кампании. Мне не нужны военные советники. Я сам себе il condotiero. Гаттамелата, Пестрая Кошка. Гуляющая сама по себе. Мы возьмем ее скоро, всего через 370 лет, отматывая назад. Какая мне разница, назад или вперед. Призрак бродит по Европе, неуместный, безвременный. Четвертого сентября 1631 года открыли выступление из Мантуи полки Феррари и Оттавио Пикколомини, а также полки Коллоредо и герцога Саксонского, последующие шестьюдесятью фургонами с награбленным имуществом. За ними тронулись восьмого сентября полки Гаральда Бранденбургского, Барневельта и Изолани с восьмьюдесятью фургонами и двенадцатого сентября полки Ривара, Зульц, Пайнер, Пиккио и Соронья с восьмьюдесятью фургонами и, наконец, двадцатого оставил город барон Иоганн фон Альдринген с восьмьюдесятью фургонами военной добычи... Стоит ли говорить, с кем из победителей были мы и с какой добычей уходили из города.

Не пойду клеить коробки. Вперед, моя гвардия, колеси, мой ночной автобус, зарабатывай мне иллегальные гроши, плыви, мой корабль, врежайся в воду, в беснующееся море, режь волну за волной носом прежде, чем их накат потопит тебя, разобьет в щепы. Но и тогда мы выживем, из обломков построим мы плот и поплывем дальше, пока море житейское не потопит и его, но и тогда поплыву я дальше сам, раздвигая бескрайнюю воду руками и ногами, пока она не навалится мне на плечи, не сведет икры судорогой, не вольется мне в рот, не зальет своею тяжестью мои легкие. Но и тогда я пойду ко дну – живой, как призрак. Мне не дано умереть – не спасись.

Но меня им не взять. Лучше лежать на дне. Вот ушел я от них по грудь, вот – по шею, вот уже и с головой. Возьмите попробуйте. Надо мной – сомкнулось.

Я вынырнул на Адриатике. На пиниевом Лидо дельи Эстензи, между Равенной и Феррарой, в бывших владениях некогда королевски могущественных князей д'Эсте. Я обещал тем двоим, которые и есть я сам, перед открытием учебного года десять дней на море, лечить его горло и бронхи в лечебном климате, где в воздухе смешана хвоя и морская соль, и учить его плавать. У меня была временная фора: в Баварии каникулы начинаются в августе и кончаются в середине сентября. Я возил чужих людей, сдавая себя внаем недорого – дорого стоит только лицензированный экскурсовод – а тем временем собирал и свои войска трижды, пообещав

им три города на разграбление. Это было непросто, у социальных минималистов нет денег ездить подряд смотреть Европу за Европой. Это растянулось на три месяца. Летом, особенно в августе, людям не до экскурсий. Поездки не давали полных сборов, заработать всюду удалось меньше, чем я думал. Но это как-то сделалось и закончилось. Я вынырнул и перевернулся на спину.

Они не ходили на пляж по ночам, боясь простудиться. В начале сентября в северной Италии по ночам ветрено и в море теплее, чем на берегу. Я приходил сюда один, чтобы искупаться перед сном. Проходил ряды закрытых, сложенных на ночь в аккуратные зонты тентов, слепяще-яркозеленых в свете двух мощных прожекторов пляжа от отеля «Дориан» и отбрасывающих длинные косые тени, строящиеся в ряды, как кресты на знаменитом протестантском кладбище св. Иоганна в Нюрнберге, самом мрачном кладбище Европы, единственном сбывшемся до конца проекте доктора Лютера, где могилу Дюрера от любой другой могилы можно отличить только по надписи и номеру могильной плиты – все великие и малые мира сего пришли и ушли из мира сего равно нагими, равно сочтенными, под номерами одного ряда натуральных чисел; зеленые копыта зонтов указывали в небо, а темные острые стрелы их теней на освещенном бело-сером песке указывали на две волны, светлой пеной из черноты накапывающие на пустынный берег. Я понял здесь, что Танги, и Дали, и де Кирико – такие же не-выдумщики, как Саврасов с его «Проселком». Волны выкатывались из черного, где море сливалось с небом. В одно бесконечное, чернее которого я не видел ни на полотнах Веласкеса, ни Гойи. Никого из тех, кто по-настоящему знал, что такое – писать черным. Я стаскивал с себя одежду и бросал на песок, если даже в карманах оставались деньги. В этом уголке Италии не воровали, а в это уходящее-сезонное время года, в это мертво-остывшее время суток на пляже и подавно могла появиться разве что пара, разогретая любовной страстью. Занятая не тем, чтобы прибрать к рукам чужое шмотье, а тем, чтобы побыстрее освободиться от своего. Я входил в море. Я всегда был в море один. И сегодня я был один в море.

Я вынырнул и лег на спину. Я лежал не в воде, а на воде – как на ковре. Утопленный в нее лишь на самую малость, так, чтобы не висеть, а лежать. Плотная вода Адриатического моря позволяла лежать совершенно плашмя. Я лежал на черной воде и смотрел в черное небо. В небе, во всем небе, во весь окоем, там, где вчера еще рассыпана была сотня звезд, гроздь созвездий, по которым я мог добраться в любую сторону света, в любую гавань из тех, вход в которые мне был заказан, – сегодня, клянусь в этом всем, что есть святого за душой у проклятого призрака, сегодня не было ни одной, даже Полярной. Ни одной, кроме одной. Я не знал ее и не мог добраться по ней никуда на земле, только до нее самой, взглядом. Она была на небе и смотрела на меня. Ее зажгли для меня. Это была моя звезда.

Я все понял.

Сента, не ты нужна мне. Но ты нужна своему жениху. Не обижайся, это для твоего же блага. Иди к нему. Таких, как я, не спасешь женской любовью и верностью. Эта часть меня у меня есть и так. Девушка, дева, которая меня полюбит, и останется девой, сохранив мне верность, и спасет меня, – это совсем другая. Она любит всех, и верность ее каждому – непреложна. Ее любовь в силах спасти и призрака, освободив его от невидимых пут пустоты пространства и времени. Отпустить в смерть или оставить жить – не проклятым. Всепонимающая, всепобеждающая любовь Девы.

Мария, Звезда Морей.

Спаси меня: спаси нас троих целиком, в одном я, Совета неизреченного Таинница. Возьми нас к себе, если можно, Цветок Нетления. Спаси нас и если нельзя, Вместителище Невместимого. Как же тебе не спасти нас, когда ты так нас любишь, что радуется о тебе вся тварь. Мы неверны тебе, но ты верна Себе и всем нам,

Венец воздержания. Спаси; сохрани или не сохрани, но спаси. По их велению не мне жить – но и не по своему хотению. Я не могу больше гулять сам по себе. Во всю пустоту моей бездонно-пустой души, опустевшей на целую Европу, впитываю я твой немой ответ. Из всех нем-цев, всех нем-ок ты самая немая, unsere Jungfrau, unsere Liebfrau – говоришь тише всех, так что я тебя слышу. Говоришь, ничего не изменится в моей дырявой судьбе? Ну что же, я это и так знал. Так я и знал. Говоришь, так и буду стариться в бедности, без другого будущего, кроме смерти? А другого настоящего будущего не бывает. Все будет по-прежнему? Понимаю. По-прежнему. Только теперь у этого будет конец. И в конце я умру, наконец. И ты меня не спасешь тогда. Потому что уже спасла – сейчас и во веки веков. Ты все сказала; я всему поверил. Я готов. Гори, гори, моя звезда.

Звезда судьбы приватная.
Всегда ты будешь адекватная.
Другой не будет. Никогда.

* * *

Однажды услышал я в свой адрес поистине золотые слова; позволю себе привести их вместо эпилога. Во время поездки в Бамберг, за бокалом копченого пива, одна экскурсантка сказала: «Вы доставили мне удовольствие, которого я давно не получала. Такое удовольствие... За все время здесь, за много месяцев мне только раз было так хорошо – когда я пошла в городской зоопарк и, представляете, увидела сразу двух живых носорогов».

Аугсбург, осень 2001